
ГЛАВА ВТОРАЯ

ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА II АЛЕКСЕЕВИЧА

Меньшиков. - Его меры для упрочения своей власти. - Переезд императора в дом Меньшикова. - Обучение Петра с дочерью последнего. - Остерман, Миних, Голицын и Долгорукие. - Герцог Голиштинский, его выезд из России. - Царица-бабка. - Шафиров. - Разогнание бестужевского кружка. - Макаров, Матвеев и Волынский. - План преподавания молодому императору. - Верховный тайный совет; Сенат. - Финансы. - Уничтожение Главного магистрата. - Деятельность Комиссии о коммерции. - Смягчение нравов. - Дела церковные. - Борьба Феофана Прокоповича с его врагами. - Восстановление гетманства в Малороссии. - Падение Меньшикова. - Положение Голицыных. - Положение Остермана. - Причины выгодного положения Долгоруких. - Царица-бабка; переписка ее с Остерманом. - Переезд двора в Москву. - Отношения императора к бабке по отцу. - Отношения к другой бабке, по матери, герцогине бланкенбургской. - Решительный фавор Долгоруких. - Меньшиков в Березове. - Новая беда с бестужевским кружком. - Герцогиня Анна курляндская и ее фаворит Бирон. - Герцогиня голиштинская Анна Петровна; рождение у нее сына Карла Петра Ульриха; ее кончина. - Придворные движения. - Деятельность Верховного тайного совета. - Уничтожение Преображенского приказа. - Коллегии. - Областное управление. - Полиция. -хлопоты о составлении Уложения. - Деятельность Комиссии о коммерции. - Дурное состояние армии и флота. - Дело адмирала Змаевича. - Деятельность геодезистов. - Академия наук. - Состояние церкви. - Продолжение борьбы Феофана Прокоповича с врагами. - Дела на окраинах. - Внешняя деятельность; дела персидские, турецкие, французские, австрийские, польские, курляндские, шведские, датские, прусские, китайские. - Решение вопроса о соединении Азии с Америкой. - Помолвка императора на княжне Долгорукой. - Болезнь Петра. - Замысел Долгоруких. - Кончина императора.

Новый император был признан беспрекословно: беспокойство, вызванное вопросом о престолонаследии, прекратилось; но второму императору, как называли Петра, было только одиннадцать лет. До совершеннолетия должен управлять Россией Верховный тайный совет вместе с цесаревнами. "Дела решаются большинством голосов, и никто один повелевать не имеет и не может", - было сказано в завещании, которое все поклялись исполнять; но всем было хорошо известно, что в последнее время Меньшиков повелевал в Верховном совете. Меньшикову теперь уже нельзя было приобрести большей силы, большего значения, поэтому он оставил все, как было, и только хлопотал о том, чтоб удержать власть в своих руках. Средствами к тому были: полное подчинение молодого императора своему влиянию, сосредоточение в своих руках военного управления, составление

для себя сильной партии из людей способных и значительных, удаление людей враждебных или подозрительных.

Оставить Петра во дворце по одну сторону Невы, а самому жить в своем доме на Васильевском острове было опасно для Меншикова: свой глаз верней всякого другого, и потому светлейший князь перевез императора в свой дом на остров, который вместо Васильевского велено было называть Преображенским. 25 мая совершено было торжественное обручение императора на княжне Марье Александровне Меншиковой, которую стали почитать в церквах великою княжною и нареченною невестою императора; 34000 рублей ежегодно назначено было на содержание ее особого двора. Еще прежде, 13 мая, Меншиков получил наконец давно желанное звание генералиссимуса, которого так хотелось и герцогу голштинскому при Екатерине; теперь не было в войске человека, равного Меншикову.

Но кроме войска всюду нужно было иметь преданных людей. Меншикову должно отдать честь, что он настоящим образом понял свои обязанности в отношении к молодому императору, понял, что Петру надобно долго и много учиться, чтоб быть достойным вторым императором. Кому же вверить надзор за воспитанием? Способнее не было Андрея Ив. Остермана, человека, знавшего иного и умевшего прилагать свои знания к делу, следовательно, могшего научить и другого подобному же приложению; притом Остерман имел уже заслуги относительно Петра: он в 1726 году как убедительно представил невозможность отстранить его от престола. Еще при Екатерине, как только улажено было дело о женитьбе великого князя на дочери Меншикова, Остерман был сделан обер-гофмейстером Петра с обязанностию руководить воспитанием. Вице-канцлера стали уже видеть на прогулках вместе с его воспитанником. От этого времени до нас дошла любопытная записка Остермана к Меншикову: "За его высочеством великим князем я сегодня не поехал как за болезнию, так и особливо за многодельством и работаю как отправлением курьера в Швецию, так приготовлением отпуска на завтрашней почте и, сверх того, рассуждаю, *чтоб не вдруг очень на него налегать*". По восшествии на престол Петра Остерман стал получать по 6000 рублей жалованья, тогда как канцлер Головкин и князь Дм. Мих. Голицын получали по 5000. Остерман - сила, драгоценный человек в делах внутренних и внешних, а между тем он не опасен, у него нет связей, знать смотрит на него свысока, Головкин его не любит, как помощника слишком даровитого; обязанный так много Меншикову, он должен остаться ему верен, как человек, не могущий обойтись без сильной подпоры. Притом, как говорят, во все царствование Екатерины Остерман, чуя, где сила, постоянно держался Меншикова, тем более что Толстой был его заклятый враг, быть может, за расположение к великому князю Петру и Австрии, а привязанность к австрийскому союзу кроме других соображений и побуждений могла происходить в Остермане из убеждения, что великий князь, племянник цесаревны, не может быть отстранен от престола. Изъявлено было

расположение и к другому даровитому иностранцу, оставшемуся после Петра, - Миниху: ему дано было 5000 рублей за труды по Ладожскому каналу.

Мы уже видели, что переход на сторону Петра сближал Меншикова с знатью, и теперь генералиссимус старался упрочить это сближение. Бутурлин мог быть прав, говоря, что князь Дм. Мих. Голицын наружно показывал преданность Меншикову, пока тот был ему нужен для возведения на престол Петра; но по крайней мере в первое время царствования Петра продолжались лады между ними. Меншиков, забыв прошлое, старался привязать к себе и другую знатную фамилию - Долгоруких; князь Алексей Григорьевич получил место гофмейстера при великой княжне Наталье Алексеевне, место важное по тому влиянию, какое имела великая княжна на брата-императора; приближение отца необходимо вело, хотя, вероятно, не вдруг, к приближению сына князя Ивана Алексеевича, несмотря на то что этот молодой человек так недавно еще подвергся опале за противодействие браку Петра на дочери Меншикова. Князь Михаил Владимирович Долгорукий был сделан сенатором. Брат его, князь Василий Владимирович, еще не зная о кончине Екатерины, писал к Меншикову с Кавказа 11 мая: "За высокую вашу, моего государя и отца, милость, показанную к брату моему и ко мне неоплатную, попремного благодарствую и не могу, чем заслужить до смерти моей того, только могу просить всемогущего бога, да воздаст вам, моему отцу, всевышне за ваше великодушие со всею вашею высокою фамилиею. Вашей светлости высокою милостию мы взысканы; по верной вашей светлости службе к ее императорскому величеству и чистой вашей совести предстательствуешь, видя всех нас к ее императорскому величеству верные заслуги; все получаем чрез ваше предстательство, и со всякою охотою свидетельствую самим богом, всем сердцем, сколько слабого моего смыслу есть, с радостью служу, не жалея своего здоровья, и прошу у всевышнего, чтоб мог я исправно положенные на меня дела управить и пользу принести отечеству своему и верную свою услугу на старости моей ее императорскому величеству показать, и всю свою надежду имею на вашу светлость, моего милостивого государя и отца, и надеюсь на великодушие вашей светлости, что оставлен вашею высокою милостию не буду, и, кроме вас, моего государя и отца, надежды не имею, как вашей милости самому известно".

Желая привязать к себе, с одной стороны, людей даровитых, государственных работников неутомимых, с другой - людей знатных, Меншиков в то же время беспощадно преследовал людей, в которых знал или подозревал вражду к себе и которые стояли на его дороге. Мы видели, как еще до смерти Екатерины он объявил Бассевичу, что герцог голштинский должен оставить Россию. 19 мая герцог голштинский заседал в Верховном тайном совете; явился Бассевич и донес Совету словесно об опасной болезни принца голштинского, епископа любского, жениха цесаревны Елисаветы Петровны, после чего Бассевич подал мемориал: 1) о

даче цесаревнам двух засвидетельствованных копий с завещания императрицы Екатерины и с приглашения цесаря к гарантии этого завещания; 2) об определении комиссаров к описи оставшихся после покойной императрицы алмазов, золота и проч.; 3) об определении, из каких сборов получать назначенные герцогу голштинскому и цесаревне Елисавете 100000 рублей на год; 4) о ежегодной уплате известной части из отказанного в завещании обеим цесаревнам миллиона рублей; 5) о покупке для голштинского посольства особого двора в Петербурге; 6) о позволении занять для герцогской свиты несколько комнат в Академии. На этот раз мемориал остался без ответа.

В тот же день, т. е. 19 мая, епископ любский умер. С лишком через месяц, 27 июня, голштинское дело было возобновлено в Верховном тайном совете: призван был гофмейстер цесаревны Елисаветы Сем. Григор. Нарышкин, которому объявлено, чтоб он по данной ему копии брачного договора с герцогом голштинским всячески наблюдал и предостерегал, все ли обязательства этого договора будут исполняться со стороны герцога; приданные 300000 рублей все уже выплачены, и герцог в получении этой суммы прислал расписку; потому приказали, чтоб Нарышкин сделал от имени членов Верховного совета цесаревне Анне представление, что они для выгоды ее высочества желают знать, выплачиваются ли ей надлежащие проценты. На другой день, 28 июня, министры герцога голштинского Бассевич и Стамке явились в Верховный тайный совет и объявили формально о намерении своего государя и его супруги выехать из России, причем подали новый мемориал, заключающий в себе те же требования, какие мы сидели в мемориале 19 мая. Члены Совета согласились удовлетворить всем этим требованиям, только отказали в выдаче копии с завещания императрицы Екатерины, объявив, что дать эту копию неприлично и невозможно, к тому же она герцогу и не нужна, ибо распоряжение касательно наследства русского престола зависит исключительно от воли императора. Разумеется, голштинские министры могли возразить, что в завещании, которое все, начиная с императора, поклялись исполнять, прямо определен был порядок престолонаследия. Наконец, голштинским министрам было объявлено, что из имени покойной императрицы для цесаревны Елисаветы оставлено будет столько, сколько дано уже герцогине Анне Петровне, остальное же пойдет в равный раздел между обеими сестрами. 24 июля от имени императора за подписью членов Верховного тайного совета герцогу голштинскому дана была декларация, в которой говорилось, что все трактаты и секретные артикулы, которые император Петр I заключил с Швециею в пользу герцога и с ним самим, равно как тайная конвенция, заключенная императрицею Екатериною с цесарем насчет Шлезвига, накрепчайшим образом возобновляются и утверждаются; и пока шлезвигское дело не будет окончено, герцог получает от России ежегодно по 100000 цесарских гульденов; из назначенного ему миллиона рублей герцог получает до отъезда 200000, остальные выплачиваются в восемь лет. Впоследствии Бассевич показал, как мы видели, что между ним и Меншиковым было

условлено, чтоб герцог из этого миллиона заплатил Меншикову 80000 рублей, именно: 60000 вперед, а 20000 - при последней выдаче. Когда все дело было кончено и Бассевич привез Меншикову 60000 рублей и письменное обязательство герцога уплатить остальные 20000, то Меншиков отдал это обязательство Бассевичу назад, сказавши ему: "Ваше превосходительство много при том труда имел; я дарю тебе эти 20000, возьми их с герцога, ты их заслужил". Бассевич взял записку и отдал ее герцогу, говоря, что отдает в его волю, чем ему угодно будет наградить его. Герцог, взявши записку, надавал Бассевичу много устных и письменных обещаний, но не дал ни копейки денег; напротив, цесаревна Елисавета Петровна подарила ему алмазный крест, доставшийся ей после отца; и этот крест герцог выменил у Бассевича на свой, который по меньшей мере стоил 4000 ефимков дешевле.

Герцог и герцогиня голштинские уехали из Петербурга 25 июля. По приезде в свою резиденцию Киль Анна Петровна писала к сестре в Петербург: "Государыня дорогая моя сестрица! Доношу вашему высочеству, что я, слава богу, в добром здоровье сюда приехала с герцогом, и здесь очень хорошо жить, потому что люди очень ласковы ко мне; только ни один день не проходит, чтоб я не плакала по вас, дорогая моя сестрица: не ведаю, каково вам там жить. Прошу вас, дорогая сестрица, чтоб вы изволили писать ко мне почаще о здравии вашего высочества. При сем посылаю к вашему высочеству гостинец: опахало, такое, как здесь все дамы носят, мушечную коробку, зубочистку, готовальню, орехи; прислала б здешних фруктов, только невозможно; крестьянское платье, как здесь носят, а шапку прошу ваше высочество отдать Миките Волоките и белую шляпу. Впрочем, рекомендую себя в неотменную любовь и остаюсь верная до гроба сестра и служница Анна. Прошу ваше высочество отдать мой поклон всем петербургским, а наши голштинцы приказали отдать свой поклон вашему высочеству". Мы видели, что Толстой, вооружаясь против возведения на престол Петра II, выражал опасения насчет влияния, которое должна будет получить бабка Петра инокиня Елена (Авдотья Федоровна Лопухина). И Меншиков, подобно Толстому, не мог надеяться доброго расположения к себе от первой жены Петра Великого, но оставлять в заключении бабку императора было нельзя; Елену освободили из Шлиссельбурга и отправили прямо в Москву, где она была помещена в Новодевичьем монастыре с приличным содержанием. 3 июня велено было освободить Елену, а 26 июля в Верховном тайном совете состоялся именной указ об отобрании манифестов 1718 года по делу царевича, Глебова и Досифея, чтобы впредь ни в каких коллегиях и канцеляриях и по церквам их не было и не читали; а кто имеет их из частных людей, те должны приносить в Петербурге в Сенат, в Москве - в Сенатскую контору, по городам и уездам отдавать губернаторам и воеводам; утаившие будут отданы под суд. Вместе с означенными манифестами были отобраны манифест 1718 года о наследстве и устав о наследстве престола российского 1722 года; этим хотели показать, что Петр II есть законный император по наследству и что устав Петра Великого потерял силу.

Меншиков не хотел оставить в покое своего заклятого врага Шафирова, который, возвращенный, как мы видели, из ссылки Екатериною, получил место президента Коммерц-коллегии. Но еще в марте 1726 года Меншиков выхлопотал указ, по которому президент Коммерц-коллегии должен был отправиться в Архангельск для устройства китоловной компании. Говорят, что Остерман, для которого бывший вице-канцлер был очень опасен, поддерживал старую вражду и опасения Меншикова. Шафиров по нездоровью остановился в Москве, но 12 июня 1727 года в Верховном тайном совете решили, что надобно определить в Коммерц-коллегию президента настоящего, а Петру Шафирову иметь только титул президента этой коллегии и быть ему в Архангелске для заведования делами китоловной компании; 19 числа приказано было послать в Москву к графу Мусину-Пушкину указ, чтоб Петра Шафирова выслал в Архангельск к китоловному делу немедленно. Ягужинскому, бывшему генерал-прокурору, потом посланнику в Польше, велено было отправиться в противоположную сторону - в Украинскую армию.

Дело Девьера вскрыло для Меншикова кружок людей молодых, невидных, которые, однако, старались подняться наверх с помощью Петра II. В числе людей, выведенных Петром Великим за даровитость и образование, были хорошо уже известные нам члены семьи Бестужевых-Рюминых, состоявшей из отца Петра, которого мы видели русским министром в Курляндии, и сыновей: Михайлы, министра в Швеции и потом в Польше, и Алексея, министра в Дании. Бестужевым, и особенно самому даровитому и самому честолюбивому из них Алексею, не хотелось ограничиваться дипломатическими местами, оставаться постоянно вдалеке от России, без непосредственного влияния на дела, в зависимости от других; их тянуло в столицу, ко двору, к источнику силы и почестей. Это стремление во что бы то ни стало выдвинуться, заискать, пользуясь конъюнктурами, едва было не погубило Алексея Бестужева в самом начале, когда он по воле Петра служил камер-юнкером при дворе курфюрста ганноверского и короля английского Георга. В 1717 году, узнавши, что царевич Алексей ушел из России и находится под покровительством императора, Алексей Бестужев 7 мая отправил к нему следующее письмо: "*Serenissime et augustissime altesuccedens Princeps gratiosissime Domine Czarewicz*. Так как отец мой, брат и вся фамилия Бестужевых пользовалась особою милостию вашею, то я всегда считал обязанностью изъявить мою рабскую признательность и ничего так не желал от юности, как служить вам; но обстоятельства не позволяли. Это принудило меня для покровительства вступить в чужестранную службу, и вот уже четыре года я состою камер-юнкером у короля английского. Как скоро верным путем я узнал, что ваше высочество находится у его цесарского величества, своего шурина, и я по теперешним конъюнктурам замечаю, что образовались две партии, притом же воображаю, что ваше высочество при нынешних очень важных обстоятельствах не имеете никого из своих слуг, я же чувствую себя достойным и способным служить вам в настоящее важное время, посему осмеливаюсь вам писать и предложить вам себя как будущему царю и

государю в услужение. Ожидаю только милостивого ответа, чтоб тотчас уволиться от службы королевской, и лично явлюсь к вашему высочеству. Клянусь всемогущим богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание к особе вашего высочества".

Царевич истребил письмо, только немецкий перевод его сохранился в венском архиве; беда не коснулась Бестужева по следственному делу, ибо царевич и устно не показал на него; но несчастный исход дела царевича не истребил в Бестужевых убеждения, что права сына Алексеева рано или поздно получают силу и что надобно держаться великого князя Петра, а также и венского двора, которого интересы были так тесно связаны с интересами родного племянника цесаревны. Алексей Бестужев, ставши русским министром в Копенгагене, сносился с Веною, а родная сестра его, княгиня Аграфена Петровна Волконская, была в Петербурге душою кружка, который сосредоточивался около двора великого князя Петра. Главною связью кружка с этим двором служил Семен Афанасьевич Маврин, заведовавший с 1719 года воспитанием великого князя. Это место, как видно, Маврин получил по указанию императрицы Екатерины, при которой находился безотлучно в пажах с 1711 года; в 1725 году он был произведен в камер-юнкеры, получил за службы в вечное владение деревни в Гдовском и Кобыльском уездах; в начале 1727 года он упоминается уже в числе камергеров и пользовался немаловажным значением, потому что о свадьбе его на камер-фрейлине княжне Лобановой, гувернантке графини Софьи Скавронской, племянницы императрицыной, упоминает саксонский посланник Лефорт в своих донесениях. Другими членами кружка были: кабинет-секретарь Иван Черкасов, советник Военной коллегии Егор Пашков, сенатор Нелединский, секретарь Исаак Павлович Веселовский, брат известного беглеца Абрама Веселовского, Абрам Петрович Ганнибал, арап Петра Великого, воспитанный им за границею. Принадлежность Бестужевых к этому кружку объясняет нам, почему Михаил Петрович Бестужев был удален из Швеции по настоянию Бассевича и голштинского министра при стокгольмском дворе, как человек неприязненный герцогу голштинскому. Союз России с Австриею и вследствие того сильное влияние венского кабинета в Петербурге, потом известие о перемене в судьбе великого князя внушили Алексею Петровичу Бестужеву большие надежды, показывая ему в то же время основательность его расчетов; от 23 мая 1727 года он писал сестре своей княгине Волконской: "Как к Рабутину (австрийскому посланнику в Петербурге) отсюда писано, так и к венскому двору, дабы он, Рабутин, инструктирован был стараться о вас, чтобы вам при государыне великой княжне цесарского высочества (Наталье Алексеевне, сестре Петра II) обер-гофмейстериною быть, такожде чтоб и друзья наши Абрам Петрович (Ганнибал) и Псаак Павлович (Веселовский), достойнейше награждены были. Вы извольте согласно с помянутым Рабутином о том стараться. Что же принадлежит до брата нашего и до меня, и я намерен потерпеть, дондеже вы награждение свое, чин обер-гофмейстерины, получите и помянутые друзья наши, ибо награждение мое чрез венский двор никогда у меня не уйдет. Согласитесь с Рабутином о

себе и о вышеписанных друзьях наших, такожде и о родителе нашем прилежно чрез Рабутина стараться извольте, чтоб пожалован был графом, что Рабутин легко учинить может".

Но Алексей Петрович Бестужев жестоко обманулся в своих надеждах: Рабутин умирает, а в бумагах Девьера находят письма к нему от Бестужевых, от княгини Волконской, из которых видна тесная связь между всеми этими враждебными Меншикову людьми, ибо светлейший князь был убежден, что Петр Бестужев расстраивал его курляндские планы. Ненависть Бестужевых к камергеру Левенвольду, который был один человек с Остерманом, указывает на сильную борьбу Маврина и его кружка с Остерманом и Левенвольдом, причем назначение Остермана обер-гофмейстером при великом князе Петре должно было возбудить крайнее ожесточение в Маврине и его друзьях. Как бы то ни было, одновременно с арестованием Девьера стража была поставлена и в дом княгини Волконской, которой запрещен проезд ко двору. Важных улик не было. Несмотря на то, к княгине Аграфене Петровне явился секретарь Меншикова Андрей Яковлев и объявил ей, чтоб ехала в Москву, жила там или в деревнях, где хочет, принес и подорожную, где было сказано глухо, чтоб посланным людям давать подводы без означения имен. Против других членов кружка также не было никаких улик, и потому их могли разослать только в почетную ссылку, давши поручения в сибирские города. Маврин и Ганнибал отправлены были в Тобольск, последний с поручением строить крепость, потому что был инженером; из Казани 29 июня он писал Меншикову: "Не погуби меня до конца имене своего ради, и кого давить такому превысокому лицу такого гада и самая последняя креатура на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен и жажден; помилуй заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам" и проч. Иван Черкасов в звании синодского обер-секретаря отправлен в Москву для описи церковной утвари; 7 июня в Верховном тайном совете было решено: "О Иване Черкасове в Сенате объявить, чтоб по посланному к ним указу об отправлении его в Москву чинили немедленно". Изгнанник Федор Веселовский, не зная, что делается в России, думал, что с восшествием на престол сына царевича Алексея наступило удобное время просить позволения возвратиться в Россию. 19 июня в Верховном тайном совете читано было письмо его из Лондона, где он, объявляя причины своего бегства, просил о помиловании. Но в Совете нашли оправдания его не заслуживающими уважения. Остерман понес письмо к Меншикову, и тот объявил, что нельзя дать помилования. Когда старик генерал-адмирал граф Апраксин завел было речь в Верховном тайном совете о Маврине и Петрове, за что они сосланы, то Остерман стал просить его, чтоб он больше об этом не говорил.

Царевна Анна Ивановна спешила умиловить Меншикова унижительными письмами: "Вашей светлости многие милости ко всем людям показаны, и как прежде, так и ныне чрез вашу светлость получили

многие милости; также и государыня моя матушка, и все мы много от вашей светлости одолжены. И с покорностию прошу вашу светлость: как прежде, я имел вашей светлости к себе многую любовь и милость, тако и ныне и по нынешнем нашем свойству меня не оставить, но содержать в милости и протекции, в которую протекцию вашей светлости и себя нижайше рекомендую". В том же роде Анна писала письмо и к жене Меншикова, и к свояченице его Варваре Арсеньевой, но все напрасно!

Петр Михайлович Бестужев вызван был из Митавы в Петербург и задержан здесь, несмотря на жалобные вопли герцогини о возвращении необходимого ей человека; самой царевне Меншиков не позволил приехать в Петербург для поздравления императора с восшествием на престол.

Кабинет, существовавший при Петре Великом и Екатерине I под управлением знаменитого кабинет-секретаря Макарова, был упразднен, как ненужный при малолетнем императоре; Макаров лишился своего важного значения, в котором не мог всем угодить, и был назначен президентом в Камер-коллегию. Приятель его, граф Матвеев, по просьбе за долголетние службы от дел уволен, и позволено ему жить, где захочет. Волынский, уволенный от губернаторства в Казани, жил в Петербурге в звании шталмейстера; его назначили министром ко двору герцога голштинского, потом передумали и назначили в Украинскую армию. Герольдмейстер и обер-церемониймейстер граф Санти был заслан далеко в Сибирь по связи с Толстым, которому он служил переводчиком.

Семена Маврина не было более при императоре; при Петре не было и учителя Зейкина. Иван Алексеевич Зейкин был учителем в доме Александра Львовича Нарышкина, с которым ездил за границу. В 1722 году он получил от Петра Великого следующую записку: "Господин Зейкин! Понеже время приспело учить внука нашего, того ради, ведая ваше искусство в таком деле и добрую вашу совесть, определяем вас к тому, которое дело начни с богом по осени". Зейкин стал отговариваться, выставляя свою неспособность к такому важному делу, и дело затянулось надолго. В ноябре 1723 года Зейкин получил от государя записку уже в другом тоне: "Указ г. Зейкину: определяем вас учителем к нашему внуку, и когда сей указ получишь, вступи в дела свои немедленно". Но и после этого указа Александр Львович Нарышкин не отпускал Зейкина. Тогда Петр написал Макарову: "Нарышкин его не отпускает, притворяя удобьвозможные подлоги, и также я не привык жить с такими, которые не слушаются, смирно: того ради скажи и объяви сие письмо, что ежели Зейкин по указу не учинит, то я не над Зейкиным, но над ним (Нарышкиным) то учиню, что доводится преслушникам чинить, ибо все сие от него происходит". 10 июля 1727 года Зейкин был выпровожен за границу, в Венгрию, его отечество. Тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский, вооружаясь против лютеранства, хвалил благочестие и учение Зейкина, говорил, что он был бы очень надобен в нынешнее время к наставлению государя в добрых правилах и благочестии. Маврин и Зейкин

были отстранены; Остерман остался один, но кроме Петра для него очень было важно подчинить своему влиянию сестру императора великую княжну Наталью. Она была только годом старше брата, но была развита выше своего возраста, особенно, быть может, вследствие болезненности, чахоточности, хотя, разумеется, мы не имеем надобности верить восторженным отзывам о необыкновенных способностях Натальи, сохранившимся в некоторых свидетельствах: известно, как партия, примыкающая к высокопоставленному лицу, обыкновенно преувеличивает достоинства этого лица, тогда как партия противная, наоборот, уменьшает их. Петр очень любил сестру, с которою вместе вырос, и слушал ее; Остерману нетрудно было овладеть волею великой княжны, которая была доступнее внушениям учителя, чем мальчик, который думал об одном - как бы из класса вырваться поскорее куда-нибудь, где повеселее. В бумагах Остермана сохранилось следующее писание Петра II на латинском языке: "Каждый раз, как я с собою рассуждаю, сколь много надлежащее воспитание императора содействует безопасности и благоденствию народа, не могу не принести неизменной признательности светлейшей княжне, моей любезнейшей сестре, которая меня поучает полезными увещаниями, помогает благоразумными советами, из которых каждый день извлекаю величайшую пользу, а мои верные подданные ощущают живейшую радость. Как могу я когда-либо забыть столько заслуг ко мне? Воистину, чем счастливее некогда будет мое государство, тем более, признавая плоды ее советов, поступлю так, что она найдет во мне благодарного брата и императора".

Должно быть, еще Зейкин выучил Петра по-латыни, ибо мы видим, что он на этом языке переписывается с Остерманом, т. е. набирает латинские слова, оставляя фразу русскою. Остерман составил план учения, в который входила: 1) Древняя история: "Читать историю и вкратце главнейшие случаи прежних времен, перемены, приращение и умаление разных государств, причины тому, а особливо добродетели правителей древних с воспоследовавшею потом пользою и славою представлять. И таким образом можно во время полугода пройти Ассирийскую, Персидскую, Греческую и Римскую монархии до самых новых времен, и можно к тому пользоваться автором первой части исторических дел Яганом Гибнером, а для приискивания - так называемым Билдерзаалом"; 2) Новая история: "Новую историю трактовать и в оной по приводу г. Пуфендорфа новое деяние каждого, и особливо пограничных государств, представлять, и в прочем известие о правительствующей фамилии каждого государства, интересе, форме правительства, силе и слабости помалу подавать"; 3) География: "Географию отчасти по глобусу, отчасти по ландкартам показывать, и к тому употреблять краткое описание Гибнерова"; 4) Математические операции, арифметика, геометрия и прочие математические части и искусств из механики, оптики и проч. Обозначены были и забавы: концерт музыкальный, стрельба, игра под названием вальянтеншпиль, бильярд, ловля на острове. Но, кроме того, сохранилась записка, подписанная самим Петром, где говорится: "В понедельник

пополудни, от 2 до 3-го часа, учиться, а потом солдат учить; пополудни вторник и четверг - с собаки на поле; пополудни в среду - солдат обучать; пополудни в пятницу - с птицами ездить; пополудни в субботу - музыкою и танцованием; пополудни в воскресенье - в летний дом и в тамошние огороды". Феофан Прокопович написал: "Каким образом и порядком надлежит багрянородного отрока наставлять в христианском законе?"

По плану Остермана Петр должен был каждую среду и пятницу присутствовать в Верховном тайном совете. 21 июня в начале одиннадцатого часа император приехал в Совет и объявил: "После как бог изволил меня в малолетстве всея России императором учинить, наивящее мое старание будет, чтоб исполнить должность доброго императора, то есть чтоб народ, мне подданный, с богобоязненностию и правосудием управлять, чтоб бедных защищать, обиженным вспомогать, убогих и неправедно отягощенных от себя не отогнать, но веселым лицом жалобы их выслушать и по похваленному императора Веспасиана примеру никого от себя печального не отпускать". После во все время господства Меншикова мы не встречаем известий о присутствии Петра в Тайном совете. Меншиков присутствовал также очень редко; Остерман не присутствовал или приходил поздно; к ним обоим тайный советник Степанов носил дела на дом для получения их мнения; так, под 19 июля читаем в журнале: "Написанный указ о разделении их высочествам государыням цесаревнам вещей носил тайный советник Василий Степанович к барону Андрею Ивановичу Остерману и, возвратясь, донес, что тому указу быть в той силе Андрей Иванович согласился, а светлейшего князя о том доложить не поручил". Иногда от светлейшего князя объявлялись приказы, чтоб изволили издать такой-то указ. Присутствовали обыкновенно трое: Апраксин, Головкин и Голицын.

Вследствие предполагавшегося упразднения Кабинета, 24 мая Верховный тайный совет объявил именной указ, чтоб о новых и важных делах, о которых прежде писали прежде всего в Кабинет, теперь прямо доносили в Совет, именно о нападении неприятеля, о моровой язве или о каких-нибудь замешательствах; относительно же трех первых пунктов, т. е. злоумышления против государя, измены и возмущения из ближних к Петербургу губерний и провинций, писать в Сенат, из дальних - в Москву к генерал-губернатору князю Ромодановскому. Относительно Сената Верховный тайный совет показал свою власть 17 июля: впущен был сенатский обер-прокурор Воейков, и выговаривано ему о неисpravлении дел сенатских, что съезды бывают не ежедневно, и то приезжают поздно, по счетам большой суммы не взыскивают и для чего он, обер-прокурор, должности своей не исполняет; приказано неисpravление его должности расписать и для лучшего в отправлении сенатских дел порядка подавать ежедневно журналы, кто в какой час приедет и как будут отправляться дела.

Главный упрек Сенату был за невзыскание значительных сумм. Работа над средствами поправления финансов продолжалась в Совете. По указу 9 февраля запрещено было посылать комиссаров и подьячих для сбора подушных денег, велено было принимать эти деньги земским комиссарам в городах в надежде, что подданные будут платить подушную подать исправно в указные сроки; но надежда не оправдалась: подданные не уплачивают подати сами в определенное время. Вследствие этого издан был указ: губернаторам и воеводам посылать от себя нарочных в вотчины, не заплатившие податей, и, взявши в города, править деньги на самих помещиках, а где их самих нет - на их приказчиках, старостах, выборных и крестьянах, а в дворцовых и духовных вотчинах - на управителях и крестьянах. Недобор будет взыскан на губернаторах и воеводах; они же будут отвечать, если посланные ими нарочные позволят себе обижать уездных людей. 1 июня в Совете рассуждали о том, чтоб сложить поворотные деньги; в указе, обнародованном 20 июля, говорилось, что поворотный сбор с привозных всяких возов указано отставить для народной пользы и для пресечения воровства от сборщиков; сумму, которая получалась от этого сбора, взяв сбор среднего года, разложить на кабацкие питейные продажи. Имея в виду недостаток людей и денег, продолжали разбирать, нет ли каких учреждений и должностей, которые можно было бы уничтожить. Мы видели, что в предшествовавшее царствование решились подчинить магистраты губернаторам и воеводам; теперь пришли к мысли, что лучше совсем их уничтожить, потому что люди понапрасну заняты, а дела в губерниях поручить губернаторам и воеводам. Мысль эта не была приведена в исполнение, но порешили с Главным магистратом; 18 августа издан был указ: "Понеже городские магистраты повелено подчинить губернаторам, того ради указали мы в С. - Петербурге Главному магистрату не быть, а учинить только для суда здешнего купечества в ратуше одного бургомистра и с ним двух бурмистров, кроме тех, которые были ныне в магистрате членами, и быть им погодно с переменою за выбором купецких людей, добрым и знатным людям; а которые дела имеют быть между иностранных купцов, тем делам быть в Коммерц-коллегии". В Совете кто-то спросил: "Когда оно магистрата не будет, то городские магистраты, ежели им от воевод обида происходить будет, к кому писать будут?" Но вопрос этот остался без ответа. В Совете рассуждали также, чтоб в Москве коллежским конторам не быть, а посылать из коллегий указы прямо к московскому губернатору; в Синоде обер-секретарю не быть; Московской синодальной конторе и дикастерии не быть, а быть Духовному приказу под ведением крутицкого архиерея; Коллегии экономии и Камер-конторе не быть. Хотели перевести Вотчинную коллегию в Москву, но затруднялись тем, что прежний указ о переписке дач и столбцов был не исполнен, и теперь хотели ограничиться только описанием дач и столбцов и снятием точных копий с одних ветхих дел, ибо если коллегия в Москву отпустится, то чтоб дела не распропали. Был вопрос о переводе Камер - и Юстиц-коллегий в Москву, но тут же решили оставить их в Петербурге.

Мы видели, что в предшествовавшее царствование забота о поднятии торговли возложена была на Остермана, председателя Комиссии о коммерции. Комиссия работала. Петр Великий, имея в виду заведение своих мануфактур, поднял пошлину с сырых произведений, отпускаемых из России за границу: так, с льняной и пеньковой пряжи бралось по 37 1/2 процента. Комиссия о коммерции нашла, что с такою высокою пошлиною пряжи отпускать нельзя, от чего русскому купечеству и крестьянству большое разорение, ибо прежде пряжи отпускалось за границу много, и как купечество, так и крестьянство имели от того пропитание, и пошлин сходило много, тогда как теперь ни пошлин в казну, ни народной пользы. Комиссия представляла, что надобно позволить отпускать пряжу, взимая по пяти процентов ефимками, а русские фабриканты должны уговариваться заблаговременно с поставщиками пряжи, чтобы поставляли им пряжу лучшую, чтоб можно было делать в России полотна одинакие с заморскими. Представление Комиссии было утверждено. Остерман исходатайствовал указ: "Ежели который город или кто и партикулярно в купечестве имеет какое недовольство или в чем признавает тягость, или и сами усмотрят, что как генерально и партикулярно к распространению и умножению купечества полезно быть может и чтоб объявляли без всякого сомнения и опасения, с ясным доказательством, и подавали б в городах письменно нашим генерал-губернаторам и губернаторам и воеводам, которым, принимая то, не удерживая, отсылать в учрежденную Комиссию в С. - Петербург, по которому чинено будет в той Комиссии рассмотрение к народной пользе". По доношению той же Комиссии сибирский торг мягкою рухлядью велено отдать в вольную торговлю для всенародной пользы.

Но при этих заботах о материальных средствах государства встречаем распоряжение, которое служит признаком смягчения нравов, стремления дать народу лучшее воспитание, истребляя следы варварских, азиатских привычек. 10 июля объявлен был именной указ: "Которые столбы в С. - Петербурге внутри города на площадях каменные сделаны и на них, также и на кольях винных людей тела и головы потыканы, те все столбы разобрать до основания, а тела и взоткнутые головы снять и похоронить".

К сожалению, блюстительница народной нравственности, главная участница в народном воспитании - церковь представляла неутешительные явления, которые ослабляли уважение к ее пастырям. Сильные жалобы ростовского архиепископа Георгия на оскудение доходов были теперь услышаны; 26 мая объявлен был именной указ: "Ростовской епархии все епаршеские сборы из домовых вотчин, как денежные, так и хлебные доходы, отдать до предбудущего нашего указу в ведомство той епархии архиепископу Георгию на содержание соборной, и домовых, и ружных церквей, и на собственные его и домовых, как духовных, так и светских служителей, обретающихся в той епархии и в С. - Петербурге, расходы, также сиропитательницы и ружников; и для того, которые доходы положены были собирать в Синодскую камер-контору, ныне тех доходов

не брать: также ему, архиерею, ни на какое содержание больше тех определенных с его епархии доходов не требовать, и все надлежащие расходы исправлять теми епаршескими и собираемыми с домовых вотчин доходами, кроме собираемых с венечных памятей пошлин, которые по прежнему указу отсылать на гошпиталь". 12 июня члены Верховного тайного совета рассуждали о том, чтоб деревни отдать архиереям по-прежнему, архиереи же должны платить в Камер-коллегию положенные на эти деревни сборы.

Но слышалась жалоба с другой стороны не на материальные недостатки, а на ослабление той меры, посредством которой Петр Великий старался поднять нравственное значение духовенства. Ректор московских славяно-греко-латинских школ архимандрит Гедеон Вишневецкий донес Синоду, что указом 1723 года велено во всех монастырях переписать молодых монахов и выслать в школы для учения; но прислано только из Смоленской епархии два иеродиакона, из которых один и теперь в школах, а другой бежал, да из Сибирской епархии один иеродиакон, который в 1726 году по указу из Московской синодальной канцелярии отпущен домой в Сибирь, да своею охотою учатся 4 человека; из прочих епархий и из московских монастырей, хотя в них и довольно молодых и к учению способных монахов, из которых бы мог быть плод церкви и произошли бы в учителя и предикаторы, и поныне никто не присылыван. Синод приговорил послать подтвердительные указы о высылке молодых монахов в Москву.

В отношениях Верховного тайного совета к Синоду мы не замечаем уважения, должного верховному церковному правительству. Мы видели, что с Англиею у русской церкви были постоянные сношения, и канцлер граф Головкин представил Совету письмо находящихся в Англии русских духовных особ, в котором объявляли, что прислан к ним из Синода указ о приводе к присяге новому императору, но им приводить к присяге некого. Распоряжение Синода, если в нем и заключалась некоторая неосмотрительность, не заслуживало, однако, того, чтобы на него нужно было обратить большое внимание. Несмотря на то, Совет решил: синодских членов, призвав, выговорить, что им такого указа, не спросясь, посылать не надлежало. Спустя немного времени после того в одно из заседаний Совета явился обер-секретарь и объявил от светлейшего князя приказ, чтоб изволили определить указом коломенскому архиерею иметь смотрение над петербургскими попами по примеру архиерея крутицкого, заведовающего духовенством московским. Странно, что петербургское духовенство поручалось коломенскому архиерею мимо архиепископа новгородского; но этот архиепископ, самый представительный член Синода по дарованиям и образованности, был вовлечен в неприятное дело, которое было не без влияния на отношения Верховного тайного совета к Синоду.

Мы видели, что церковные преобразования, совершившиеся при Петре, возбуждали неудовольствие не в одних низших слоях народонаселения, но

и между сенаторами, которые и указывали Синоду на некоторые крайности и неприличие приемов в этих переменах. Главными поборниками нововведений в деле церковном считались двое главных членов Синода - Феодосий Яновский и Феофан Прокопович. Первый, человек страстный, неосторожный, непоследовательный и не выдававшийся своими дарованиями, пал в начале царствования Екатерины - и никто не жалел о нем. Феофан был ловок, осторожен и последователен, потому не сталкивался с Петром; преобразователь видел в нем человека, вполне сочувствовавшего преобразованию; разбирать же, в чем Феофан переходил должные пределы или нет, Петр не имел возможности; Стефан Яворский с своими приверженцами упрекал Феофана в неправославии, но на самого Стефана сыпались такие же упреки из столицы православия Константинополя. Петр защитил Стефана от константинопольского патриарха и тем более мог считать своим правом и обязанностью защитить Феофана от рязанского митрополита. Но другие смотрели иначе на дело и считали Феофана главным виновником неприятных им церковных преобразований. Навлекши на себя негодование одних как автор "Духовного регламента", Феофан навлек на себя негодование других как автор "Правды воли монаршей" - сочинения, направленного против прав великого князя Петра. Понятно, что Феофан должен был примкнуть к стороне, которая хлопотала о возведении на престол Екатерины, и вздохнул свободно, когда эти хлопоты увенчались успехом. Мы видели, что падение Феодосия очистило для Феофана первое место в Синоде; но архиепископ новгородский скоро увидал, что твердой руки, поддерживавшей его, не было более, что Екатерина и для него не могла заменить Петра. И человек, менее Феофана проницательный, мог легко усмотреть слабость императрицы, происходившую сколько от характера, столько же и от положения, чрезвычайно непрочного, что заставляло ее продолжать и на престоле прежний образ действий, к какому она привыкла при жизни мужа, т. е. угождать всем, заискивать у всех, не обращая большого внимания на последовательность, на подчинение отдельных отношений общему, единому плану действия; Екатерина уступала всякой силе, желая с каждою жить в ладу, не иметь ни одной против себя. Она покровительствовала Феофану, но в то же время уступила просьбам людей, не расположенных к нему, которые хотели ввести в Синод ему соперника, человека совершенно противоположного направления и характера, именно Георгия Дашкова, архиепископа ростовского. Мы видели деятельность Георгия во время астраханского бунта, деятельность, которая обратила на него внимание Петра; Дашков был сделан келарем, потом архимандритом Троицкого монастыря, а в 1718 году посвящен в епископы в Ростов, даже несмотря на то, что не был ученым монахом, и даже несмотря на то, что не был оправдан по доносу в злоупотреблениях богатою казною Троицкого монастыря. В лице нового ростовского архиерея, энергического, честолюбивого, ловкого, умевшего заводить связи и пробиваться к своей цели всякими средствами, способного природными дарованиями прикрывать недостаток образования, - в лице Дашкова получили своего

представителя те великорусские духовные, которые были отстраняемы от высших степеней ненавистными ляшенками, малороссийскими монахами, управлявшими русскою церковию потому только, что учились в школах. Георгий не мог равнодушно снести, что ляшенки наполняли Синод, а он не был членом Священной коллегии; тотчас же, в 1721 году, он столкнулся с Синодом, написавши к нему доношение, "весьма противное и дерзостное во многих нарекательных терминах"; Синод отвечал ему выговором с угрозою, что если не испросит у Синода прощения, то не останется без должного наказания. Дашков смирился, но не оставил мысли попасть в Синод каким бы то ни было способом; он обратился к любимцу императрицы Монсу с просьбою, чтоб тот выхлопотал ему или место вице-президента в Синоде, или по крайней мере перевод на Крутицы: место крутицкого архиерея было очень важно, во-первых, потому, что он заведовал московским духовенством, во-вторых, потому, что двор и Сенат посещали древнюю столицу и долго в ней оставались. Ни то, ни другое желание Георгия не было исполнено в царствование Петра Великого, но он недолго дождался: Екатерина в 1725 году назначила его членом Синода, несмотря на нежелание последнего. Время было благоприятное: люди, враждебные церковным нововведениям и нововводителям, могли высказываться свободнее без Петра; Екатерине могли указать и сама она могла заметить раздражение против неблагоприятных нововводителей в разных слоях общества, начиная с высшего, и, разумеется, в выгодах было смягчить это раздражение, приобрести популярность более православным поведением; не без расчета могли поступить строго с Феодосием, принести его в жертву всеобщему неудовольствию, и не без расчета спешили назначить в Син в товарищи Прокоповичу и Лопатинскому неляшенка, человека с противоположным направлением. Георгий - представитель старого направления церкви, член Синода: Феофану, представителю нового, неловко; он недоволен: недоволен Екатериною, которая изменяла в его глазах делу Петра Великого, возвышая людей, враждебных этому делу, недоволен особенно Меншиковым, который, как главный между птенцами Петра, не поддерживал своих, позволял давать дорогу людям, им враждебным. Феофана не трогали, как знаменитость прошлого царствования, и по неимению поводов: но поводы могли найтись и действительно нашлись.

Еще в начале 1725 года Синоду было донесено, что в Псковском Печерском монастыре лежат на полу 70 икон со снятыми окладами и венцами, и в допросе показывали, что снимать венцы и оклады приказывал архимандрит монастыря Маркелл Родышевский, а Маркелла поставил архимандритом и судьей архиерейского дома Феофан. В 1725 году Феофану удалось замять дело - выручить своего клиента: но в начале 1726 года дело возобновилось, быть может, не без цели привлечь к нему и Феофана, оставшегося теперь главою нововводителей. Маркелл приехал в Петербург отвечать пред Синодом на обвинение, ходил к Феофану; однажды явился он к нему в большом страхе и рассказывал, что два раза встретил гвардейского солдата, который грозил ему: "Будем вас,

федосовщину, за то, что ругаете и обираете св. иконы, с вашими начальниками скоро губить: помни это крепко! Вот скоро дождемся колокола, и будет вам!" Сначала Феофан старался успокоить Маркелла и, приписывая его ужас болезненному состоянию, призывал к нему доктора, но потом счел необходимым препроводить его для допросов в Преображенскую канцелярию. Поступок совершенно понятный: человек свидетельствует о приготовляющейся смуте; пусть он донесет об этом, где следует: ибо если Маркелл сам пошел бы с доносом в Преображенскую канцелярию и в допросе сказал, что объявлял об угрозах солдата преосвященному новгородскому, то последнего не поблагодарили бы. Феофан, впрочем, объяснял свой поступок тем, что убедился в притворстве Маркелла, отчего родился в нем страх, не знает ли и в самом деле он чего-нибудь подобного и не распускает ли этих слухов нарочно для смущения народа и для опечаления ее величества. Как бы то ни было, если понятен поступок Феофана, то понятно также, что Маркелл, отосланный в Преображенскую канцелярию человеком, от которого ждал только милости и защиты, сильно раздражался против Феофана и решился выпутаться из своего страшного положения и вместе отомстить Феофану и приобрести расположение и защиту его врагов доносом на новгородского архиерея.

В Преображенской канцелярии Маркелл показал, что он болен меланхолией, которую навели на него слова двоих александроневских монахов; один сказал ему: "Бог знает, увидимся ли с тобою!", а другой говорил: "Я подарил тебе одну лютеранскую книгу, возьми у меня еще две такие же". Из этих слов Маркелл заключил, не грозит ли беда некоторым синодальным членам за их противности к церкви, и боялся, не взяли бы и его понапрасну, потому что он о противностях к церкви некоторых синодальных членов знает и объявит, где будет приказано. Меланхолия напала на него еще и оттого, что шел за ним какой-то унтер-офицер, бранил бывшего архиерея Федоса за иконоборство и, обратившись к нему, Маркеллу, сказал: "Вы и ваши начальники такие же иконоборцы и церкви противники, потому что против Федоса ни в чем не спорили, помните, что за это скарает вас бог". На другой день гвардейские солдаты, указывая на него, говорили: "Это все федосовщина; хорошо бы всю федосовщину истребить". Маркелл объявил и о разговорах своих с Феофаном политического содержания. Однажды Феофан говорил ему: "Государыня императрица благоволила немного ошибиться в том, что светлейшего князя изволила допустить до всего, за что все на него негодуют, так что и ее величеству не очень приятно, что она то изволила сделать. Поистине говорю, что я наипаче ее величество и на престоле всероссийском утвердил, а то по кончине его императорского величества стали было иные насчет этого прекословить. А ныне многие негодуют, особенно за светлейшего князя, что ее величество изволила ему вручить весь дом свой, и бог знает, что будет далее. Подождать мало: вот в скором времени у нас произойдет что-нибудь великое; про ее императорское величество говорят и то, что она иноземка и лютеранка. Когда императрица изволила смотреть строю, и в то время чуть ее из ружей не убили дважды, и пулею убило

человека, который был от нее в полусажени, из чего видно, что многие ее величеству не благоприятствуют; только один, кажется, верен - граф Толстой, но и тот, как все вознегодуют, к ним же приклонится; и то захотелось ей жеманиться, да отнюдь не пристало, потому что вот на нее какие замахи; а воинство муштровать есть на то генералы, а не ее дело". При нем, Маркелле, был у Феофана александроневский архимандрит и говорил: "Вчерашнего числа был у нас в монастыре светлейший князь и пел молебен". Феофан, покачав головою, сказал на это: "На что бога обманывать: он самый недобрый человек, многим зло делает, а показывает себя богомолем и молебны поет". Спрошенный, кто именно синодальные члены и какие противности к церкви имеют, Маркелл представил обличение на Феофана в неправославных мнениях и указал на людей, которые разделяют эти мнения, между прочим на известного проповедника Гавриила Бужинского. Между тем в Синоде продолжалось дело о Маркелле, и явилось на него новое обвинение: между его вещами нашли епитрахиль и пелену со споротыми жемчугами. Синод прислал в Преображенскую канцелярию вопросные пункты Маркеллу, и тот отвечал, что он обирал жемчуг с епитрахили и пелены по приказанию Феофана.

Императрица по докладу Тайной канцелярии приказала потребовать объяснения от Феофана. Феофан представил объяснения. Ему легко было написать, что Маркелл оклеветал его относительно "непристойных слов"; но некоторым, особенно Меншикову, трудно было поверить, что Маркелл все это выдумал. Феофан дал такой смысл своим речам о государыне и Меншикове: "Когда мне сказал страхование свое и слова мятежные Маркелл. тогда, отводя его от одного страха или мечтания, говорил я, что солдат, который будто на него и прочих кричал и угрожал мятежом и сечением, был некто от малконтентов; таковой (молвил я), ярости полный, увидя тебя и дело твое об окладах иконных слышав, яд гнева своего на тебя изbleвал. На пример же малконтентов, вспомянув о письме подметном и о выстреленной пуле на экзерциции, и приложил и сие, что, может быть, некий ярятся и на князя светлейшего за превосходство его: все же то сказал я вкратце и не к бесчестию князя светлейшего, и не к поношению ее величества, но просто к его (Маркеллову) утешению, понеже сей лукавец притворял себе великий страх и трепет. Нерядовой же и клеветник, который слово похвальное переделает на ругательное. Он и предики мои похвальные перетолкует на хульные. Воспоминаю, какова известная моя и к ее императорскому величеству, и ко всей ее величества высокой фамилии, и ко всему Российскому государству верность: ибо не токмо никто и никогда ни в деле, ниже в слове моем никакой не мог признать противности, но и многими действиями моими должная моя верность свидетельствована стала. Свидетельствуют о ней многие мои проповеди и не едина книжица изданная, в которых тщательно и многократно поучаю, как верни поддании и послушливы должны быть государям своим; свидетельствуют иные мои сочинения, которыми, как ни есть, по силе моей славе их величества послужил я.. То ж свидетельствуется и от прошлогодского дела о Феодосии. А еще в прошлых 1708 и 1709 годах,

когда Мазепина измена была и введенный оною в отечество неприятель, - каков я тогда был к государю и государству, засвидетельствует его сиятельство князь Дмитрий Михайлович Голицын. Но паче всего каковое о моей верности свидетельство блаженные и вечнодостоинные памяти государь император неоднократно произносил, их сиятельству высоким министрам известно. А о Маркелле. как к плутовству охотный он, все ведают, кто его изблизка знает: и в прошлом 1718 году, когда он тщался клеветою погубить преосвященного Феофилакта, тверского архиепископа, его величество государь император, яко премудрейший государь, и слушать не похотел".

Ссылкою на свидетельство Петра Великого Феофан начинает защиту свою против обвинений в неправославии: "Известно всем. что я поучений никогда не говорил, разве в присутствии множества честных людей, но и самого императора. Смотри же, благорассудный, как беснуется Маркелл: всех честных людей без всякого изъятия в дураки ставит. Сам Петр Великий, не меньше премудрый, как и сильный монарх, в предиках моих не узнал ереси, а в преблаженной кончине своей и с лобзанием принимал сие мое учение (об оправдании верою), которое Маркелл ересью нарицает. Известно же нам, что тот же монарх две предики Маркелловы в Кронштадте, яко безумные и хульные, обличил, а в моих не усмотрел, что усмотрел Маркелл. Что же надлежит до моих книжиц, первую (о отроческом наставлении) апробовал императорское величество, и как именным указом его сделана, так его ж величества указом везде разослана, и повелено из нее учить детей российских; а книжицу "О блаженствах" его ж величество в Низовом походе прочел и на письме своем своеручном прислал об оной книге таковое в Синод свидетельство, что в ней показуется прямой путь спасения. Кто ж не видит, коликое Маркеллово дерзновение? Кто бо не видит, что он терзает славу толикого монарха?"

Маркелл обвинял Феофана в мнении, что одно св. писание полезно нам к спасению, а св. отец писание имеет в себе многие неправости, потому не надобно его в великой чести иметь и на него полагаться. Феофан отвечает: "Все мы учим и исповедуем, что едино св. писание есть учение основательное о главнейших догматах богословских; приемлем и предания, оному непротивная; а св. отец книги хотя и во втором по св. писании месте полагаем, однако же многополезные нарицаем. О моем к отеческим книгам почитании не едино свидетельствует дело мое: привожу в предиках из книг отеческих свидетельства, то ж делаю в книжице "О блаженствах", и в книжице "Правда воли монаршей", и в книжице "О крещении" и проч.; и в библиотеке моей есть особливая от иных прочиих часть всех церковных учителей, авторов числом больше 600 содержащая, на которые издержал я больше тысящи рублей. И давно уже по силе обучаюсь и навыкаю ведать, о чем который отец св. пишет, дабы в случающихся церковных нуждах скоро можно было выписывать свидетельства. А Маркелл, подлинно ведаю, ни единой никогда книги отеческой и в руках не держал, разве у меня в шкафе стоящие и неотверзтые видел". В другом месте он пишет о Маркелле: "И не

ложно могу сказать, что если бы так часто хлеб ел он, как книги читает, то в три-четыре дни не стало бы его".

Маркелл обвинял Феофана: "Св. икон в чести достодожной не содержит, а содержит так, как содержат люторы". Феофан отвечает: "Протолковал бы Маркелл, кая честь иконам св. достодожная, и тогда бы то или другое говорил на меня. А мое о чести, иконам св. подобающей, толкование напечатано в наставлении отроческом, и не мое самого, но всего собора седьмого". Маркелл доносил: "Мнит Феофан и прочим сказывает, что водоосвящение в церкви суеверие есть и ни к чему оно не полезно". Феофан отвечает: "А для чего ж в домовой моей церкви водоосвящение бывает и в мою и в прочии келии приходит священник с водокроплением?" Между прочими обвинениями Маркелл написал: "Чудотворца Николая многожды бранил Феофан и называл русским богом". Феофан отвечает: "Да не сподобит мене бог достигнуть одного блаженства, которое и Николай св., и прочии угодницы божи получили, если не лжет Маркелл! А то правда, что плотникам и другим простакам по случаю говорил, дабы св. Николая не боготворили, с полезным рассуждением для того, что память св. Николая выше господских праздников ставят". Маркелл написал: "Говорит, что учения никакого доброго в церкви св. нет, а в лютеранской церкви все учение изрядное". Феофан отвечает: "Говорил часто со вздыханием не о лютеранах одних, но и о папистах, кальвиниках, арминианах и о самых злейших и магометанскому злочестию близких социнианах, что у них школ и академий и людей ученых много, а у нас мало. И ино есть учение, ино же - ученый человек. Учение церковное в св. писании, тако ж в соборах правильных и книгах отеческих. А ученый человек, который умеет языки, знает многие истории, искусен в философских и богословских прениях, хотя доброго, хотя злого он исповедания. Моя же речь есть о ученых людях, а не о церковном учении, в книгах заключенном. Известно всем ученым, какового учения Маркелл, что не токмо не чел и не читает ни св. писания, ни отеческих, ни соборных и никаких книг, но и разуметь не может, и из латинского языка перевесть не умеет: и когда некую книжицу переводить тщался, то между бесчисленными смешными погрешениями и сей толк положил, который и доселе для забавы воспоминается. Написано было: "эра троянская", а он перевел - "мать троянская". И не дивно: еще бо и в школах тупость его ведома была. Из которого его невежества произошло, что и в сих пунктах своих некие главные церкви св. догматы ересью нарекл. Как же таковой невежа может сие учение рассуждать и судить? Дадим же ему и умение, и силу искусства богословского (которой не бывало), и если в 47 артикулах мои ереси содержатся, как то он описует, то я не рядовой, по мнению его, еретик. Для чего же Маркелл доселе молчал? Для чего не охранял церкви от толь вредного развратника? Еще же и вящше, для чего мене не отвращался, но благословения у меня требовал, и отцем и пастырем нарицал мене, и имя мое, яко пастырское, в церкви при священнослужениях возносил? Была бы его вина, если б он толь многие ереси за мною ведал, не скоро, где надлежит, донесл, хотя бы и свободен

доносил, а то тогда уже доносит, когда в важном деле за арест уже посажен. А по шестому правилу св. собора второго вселенского не важно на архиерея доношение того, который сам донесен, покамест сам не оправдится". Феофан заключил свою защиту так: "Если я не от всего сердца желаю сынам российским спасенного пути и вечного блаженства и если Маркелл прямо и по совести сия на мене написал, то да буду анафема от Христа Иисуса, господа моего! А на него клятва сия и на его (аще кии суть) сообщников и пособников падет, аще не покаются".

Несмотря на неудовлетворительность ответов Феофана относительно "непристойных слов", его не могла постигнуть участь Феодосия: Феодосий не имел блестящих способностей, резко выдававшихся достоинств, и выходки его против благодетеля еще более оправдывали всеобщее нерасположение к нему, тогда как Феофан был знаменит своими дарованиями и ученостию, занимал в этом отношении, бесспорно, первое место в русском духовенстве, был одним из самых блестящих украшений великого царствования, слава которого осеняла и царствование настоящее; Феофан был великолепный памятник петровского времени: разрушить памятник значило наругаться над этим временем; недаром Феофан настаивал на том, что вся его деятельность, против которой теперь вооружаются, освящена одобрением Петра Великого: это имело особенный смысл для Екатерины, которая блистала светом, заимствованным от Петра; притом Феофан не возбуждал против себя такого всеобщего негодования, как Феодосий; напротив, за Феофана были люди, которым дорог был новый порядок вещей, новорожденное русское просвещение, в глазах которых удар Феофану был тяжелым ударом этому просвещению; можно сказать, что в глазах этих людей, для которых новый порядок вещей представлялся светом в сравнении с прежнею тьмою, в глазах этих людей Феофан был наследником Петра, главным носителем идей преобразования в смысле образования; Феофан был вождем этих людей в их борьбе с детьми мрака, Георгием Дашковым с товарищи. Низвержение ученейшего архиепископа новгородского было бы в глазах этих людей и в глазах Европы самым верным знаком покинутия дела Петрова и возвращения к прежнему варварству; но подать этот знак никак не могли согласиться люди, с уст которых не сходило, по крайней мере официально, имя великого преобразователя. Феофан недаром старается выставить свое дело с Маркеллом как борьбу науки, учености с невежеством. Но если бы даже и решились низвергнуть Феофана, то каким способом можно было это сделать, воспользовавшись настоящим случаем, доносом Маркелла? Был один донос без свидетелей; по обычному порядку надобно было пытаться доносчика, и если бы он на пытке не сговорил, то надобно было пытаться обвиненного, и этот обвиненный был Феофан Прокопович! Разумеется, Екатерина не могла на это согласиться, и потому дан был такой указ: "Архимандрита Маркелла Родышевского за его сумнительные предерзкие слова держать в С. - Петербургской крепости от других колодников особо под крепким караулом до указа. А что он, Родышевский, показал на новгородского архиепископа Феофана о непристойных словах и о

церковных противностях, и тому его показанию верить не указала (императрица) потому: оный архиерей в ответах написал под заключением проклятия и анафемы, что он против показания его, архимандричья, непристойных слов и прочих не говаривал и никакой противности к церкви святой не имеет; да и потому: оный архимандрит в Преображенскую канцелярию взят по доношению одного архиерея в его сумнительных к устрастию смертного мятежа словах, о чем оный архимандрит хотя не во всем, однако же показал, что-де был в некоторой боязни от приключившейся ему меланхолии, чего было ему, собою рассуждая, о таковых страхованиях говорить и сомнения иметь, не зная подлинно, не надлежало".

По этому указу Феофан выходил с торжеством из дела: верить доносу было не указано; но Феофану было сделано другое объявление, в котором ему показано, что он не вполне оправдался, что он остается в подозрении не только относительно непристойных слов, но и относительно православия своего образа мыслей и поступков, и чтоб впредь вел себя как прилично православному *великороссийскому* архиерею, иначе не будет ему такого снисхождения, какое оказано теперь: "Слушав его ответы, *в которых некоторые против показания архимандрита Маркелла и неподлинно изъяснены*, следовать и тому архимандритскому показанию верить императрица не указала; а впредь ему, архиерею, противностей св. церкви никаких не чинить и иметь чистое безсоблазненное житие, как все великороссийские православные архиереи живут; также чтоб и в служении, и в прочих церковных порядках нимало отмены не чинил пред великороссийскими архиереями; а если он в противности св. церкви по чьему изобличению явится виновен, и в том ему от ее императорского величества милости показано не будет" (8 декабря 1726 года).

Но беда этим не кончилась. Через несколько месяцев Екатерина умирает; на престол восходит Петр II, против прав которого было направлено знаменитое сочинение Феофана "Правда воли монаршей"; Меншиков, озлобленный на Феофана по делу Родышевского, теперь всемогущий правитель. Новгородскому архиепископу нельзя было ожидать ничего доброго для себя. Первый удар состоял в том, что "Правду воли монаршей" велено было отбирать; второй удар получен по поводу старого дела Родышевского. Мы видели, что указом Екатерины велено было держать Маркелла в крепости *до указа*, следовательно, должны были снова поднять и пересмотреть это дело, чтоб положить окончательное решение. Меншиков не мог низвергнуть Феофана и теперь по тем же побуждениям, по каким он не мог этого сделать при Екатерине, тем более что теперь нужно было еще уничтожить решение покойной императрицы; но сочли нужным повторить для Феофана унижение, уже испытанное им в прошлое царствование. 20 июня в Верховном тайном совете рассуждение имели по делу новгородского архиерея с архимандритом Маркеллом, и положено архимандрита послать в Невский монастырь и жить ему там в братстве; архиерея призвать в Верховный тайный совет и объявить ему: "Понеже по

тому делу является немалая важность, *а он в ответах своих многого не изъяснил*, о чем надлежало было в подлинник исследовать, однако ж то оставляется, но чтоб он знал, что ему то оставление учинено из его императорского величества милости".

В то время как представитель малороссийских духовных, вызванных Петром для распространения просвещения между духовенством великороссийским, подвергался унижению, что, естественно, поднимало людей, враждебных ляшенкам, архиереев из великороссиян и главного из них, Георгия Дашкова, который уже начинал мечтать о патриаршестве, - в это время на родине Феофана происходила перемена в угоду малороссийскому народу, как говорили в Петербурге, но вопреки мысли Петра Великого решено было уничтожить Малороссийскую коллегия и восстановить гетманское достоинство. Побуждениями к тому могли быть: 1) общее движение, высказывавшееся по смерти Петра, к восстановлению прежней простейшей формы одноличного управления, требующей менее денег и людей; 2) постоянное опасение турецкой войны, в которой Малороссия по своему положению должна играть важную роль, и потому хотели, чтоб малороссияне были довольны и привязаны к России и движения казацкого войска имели более единства: еще при Екатерине, в начале 1726 года, в Верховном тайном совете было положено: прежде войны с турками приласкать малороссиян, позволив им выбрать из своей среды гетмана; подати, с них собираемые, отменить, а в рассуждении сборов на жалованье и содержание войск поступать, как бывало прежде при гетманах; суд и расправу производить им самим, и одни апелляционные дела отправлять в Малороссийскую коллегия; наконец, 3) к восстановлению прежнего порядка могли побудить жалобы на членов Малороссийской коллегии и ее президента Вельяминова. Меншиков мог иметь личные побуждения: приобрести благодарность и расположение влиятельнейших жителей Малороссии и верного слугу в гетмане, которым назначал своего старого клиента Апостола. Новый император в первое заседание свое в Верховном тайном совете определил: "В Малой России ко удовольствию тамошняго народа постановить гетмана и прочую генеральную старшину во всем по содержанию пунктов, на которых сей народ в подданство Российской империи вступил". Еще 12 мая объявлен был именной указ: "Пожаловали мы, милосердуя о своих подданных малороссийского народа, указали: доходы с них денежные и хлебные собирать те, которые надлежат по пунктам гетмана Богдана Хмельницкого и которые сбираны при бытности бывших потом гетманов, а которые всякие доходы положены с определения коллегии по доношениям генерал-майора Вельяминова вновь, те оставить вовсе и впредь с них не собирать и о том в Малую Россию к тамошней старшине и во все полки послать наши указы из Сената и притом их обнадежить, что к ним в Малую Россию гетман и старшина будут определены впредь вскоре, как прежде было, по договору гетмана Богдана Хмельницкого; а Малороссийской коллегии президенту Вельяминову с приходными и расходными книгами быть в С. - Петербург немедленно". Того же числа в Верховном тайном совете

отвергнуто было предложение Сената о позволении великороссиянам покупать земли в Малороссии, "чтоб от того малороссиянам не было учинено озлобления". До Петра Великого дела малороссийские и козацкие были ведомы в Посольском приказе; Петр Великий дела козацкие, как дела известной части войска, отдал в ведение Военной коллегии, а дела малороссийские передал из Иностранной коллегии в Сенат, чем уничтожалось значение этих областей как отдельных от империи, ибо только в этом смысле сношения с ними могли производиться чрез Иностранную коллегию. Теперь же, когда задумано было восстановление гетманства, 16 июня, в присутствии Меншикова в Верховном тайном совете было положено - малороссийским делам быть в Иностранной коллегии по-прежнему.

22 июля был издан указ: "В Малороссии гетману и генеральной старшине быть и содержать их по трактату гетмана Богдана Хмельницкого, а для выбора в гетманы и в старшину послать тайного советника Федора Наумова, которому и быть при гетмане министром". Инструкцию Наумову, составленную в Иностранной коллегии, тайный советник Степанов носил к светлейшему князю, и его светлость в секретных пунктах о выборе в сотники и другие чины добрых людей дополнить велел: "Кроме жидов", притом же рассуждать изволил, что полковник Лубенский, шурин гетмана Скоропадского, из жидов, и много от него народу в полку его тягости, так лучше его отставить. Относительно жидов Меншиков остался верен взгляду Петра Великого, так и после на доклад о жидах приказал: "Чтоб жидов в Россию ни с чем не впускать".

Малороссия получила гетмана; лифляндское шляхетство просило сейма, и в Верховном тайном совете на 1727 год сейм позволили, рассуждая, что ныне там генерал Леси (Ласу, Ласси, Лассий) с командою.

Таковы были правительственные распоряжения в первые четыре месяца царствования Петра II, когда власть сосредоточивалась в руках Меншикова. Через четыре месяца Меншиков пал; какие же были причины его падения? Отвечают обыкновенно: придворные интриги, указывают на Остермана, на Долгоруких, князя Алексея Григорьевича и его сына Ивана как на главных виновников низвержения Меншикова. Но обратим прежде всего внимание на источник власти Меншикова, на его отношения к императору. Начнем с того, что на положение, какое имел Меншиков в описываемое время, он не имел никакого права: в знаменитом завещании Екатерины I он не был назначен правителем, вся власть была передана Верховному тайному совету. Меншиков распоряжался, заставлял Совет принимать свои мнения, дожидаться своих решений единственно потому, что никто ему не противоречил, никто не спрашивал у него, по какому праву он так поступает. Но почему же его боялись и молчали, почему считали его сильным? Во-первых, потому, что между людьми, могшими не молчать, не было никакого единства, все жили врознь, и, кто бы хотел высказаться против Меншикова, тот не имел никакой уверенности, что

другие его поддержат, не выдадут светлейшему; во-вторых, Меншиков был будущий тесть императора, который жил в его доме, находился в его руках. До тех пор пока существовали такие отношения между Петром и Меншиковым, пока все думали, что воля Меншикова и воля Петра одно и то же, до тех пор все преклонялись пред Меншиковым. Следовательно, вот где был источник власти светлейшего князя, источник власти всех людей, близких к самодержавному государю, всех фаворитов. Но фавор Меншикова был самого непрочного свойства. В первые дни мальчик подчинился человеку, который казался очень силен, который содействовал его возведению на престол; но очень скоро без всякого постороннего внушения при первом неприятном чувстве от неисполнения какого-нибудь желания должна была явиться мысль: по какому праву этот человек мною распоряжается, меня воспитывает, держит в плену? Эта мысль должна была явиться особенно тогда, когда надобно было расплачиваться за услуги, которые не могли очень ясно сознаваться, когда нужно было обручиться с дочерью Меншикова, которая вовсе не нравилась. Мальчик был не охотник учиться, любил погулять, страстно любил охоту; но обо всем надобно спрашивать светлейшего князя и часто ждать сурового отказа, и по какому праву он отказывает? Барон Андрей Иванович - другое дело: он воспитатель, умнейший, ученейший человек, получше Меншикова знает, что надобно делать, но и он не отказывает.

При таких отношениях столкновения между Петром и Меншиковым были необходимы и должны были обнаружиться очень скоро. При таких отношениях что было делать окружающим? На какую сторону становиться? Легко было предвидеть, что рано или поздно дело кончится разрывом; не вооружая пока против себя Меншикова, надобно упрочить свое положение при Петре старанием ему понравиться; а ему никак нельзя понравиться внушением, что надобно слушаться Меншикова, да и как это внушать? Легко внушать мальчику, что надобно слушаться отца, сестры, наставника, кого-нибудь уполномоченного законом; но светлейшего князя кто уполномочивал распоряжаться? Положение Остермана было труднее всех: он был обязан смотреть, чтоб молодой император хорошо учился, не потакать его стремлению к удовольствиям, и в этом отношении он должен был действовать заодно с Меншиковым: но нельзя же слишком налегать на мальчика, особенно в летнюю пору, когда двор переехал в один из "веселых домов" в Петергоф; очень удобно понравиться государю, складывая всю вину стеснительных мер на Меншикова; притом находиться под властью Меншикова, отдавать ему во всем отчет очень стеснительно: тяжелый, повелительный, несимпатичный человек; и что он смыслит в воспитании и по какому праву распоряжается? Когда его не будет, никто не будет мешать искусному воспитателю взять совершенно воспитанника в свои руки.

Итак, барон Андрей Иванович очень добрый человек, он же самый умный и ученый человек - это постоянно говорит сестрица Наталья Алексеевна, а сестрица Наталья Алексеевна необыкновенная умница, которую надобно

во всем слушаться, - это последнее говорит Андрей Иванович, самый умный и ученый человек. С бароном Андреем Ивановичем весело: он такой добрый; весело с сестрицей: сироты изначала привыкли жить душа в душу; весело с князьями Долгорукими: добрые люди только и хлопчут о том, как бы угодить, как бы повеселить. Но всего веселее с тетушкой цесаревной Елисаветой Петровной.

Елисавете Петровне было 17 лет; она останавливала взоры всех своею стройностию, круглым, чрезвычайно миловидным личиком, голубыми глазами, прекрасным цветом лица; веселая, живая, беззаботная, чем отличалась от своей серьезной сестры Анны Петровны, Елисавета была душою молодого общества, которому хотелось повеселиться; смеху не было конца, когда Елисавета станет представлять кого-нибудь, на что она была мастерица; доставалось и людям близким, например мужу старшей сестры герцогу голштинскому. Неизвестно, три тяжелые удара - смерть матери, смерть жениха и отъезд сестры - надолго ли набросили тень на веселое существо Елисаветы; по крайней мере мы видим ее спутницею Петра II в его веселых прогулках и встречаем известие о сильной привязанности его к ней. Близкое родство благоприятствует частым свиданиям и бесцеремонному обращению, а между тем могло быть узвано, что умнейший и ученейший человек барон Андрей Иванович подавал проект о необходимости брака Петра на Елисавете - брака, примирявшего все партии и упрочивавшего спокойствие государства. Как было бы тогда весело! А теперь эта скучная, противная Меншикова! Барон Андрей Иванович, бесспорно, самый добрый, умный и ученый человек.

Прусский двор хлопчет, как бы устроить брак Елисаветы с одним из своих принцев, имея в виду приданое - Курляндию; но Елисавета отклоняет предложение: она желает остаться в России; за нее идет спор у Петра с сестрою его Натальею, которую беспокоит дружба брата с теткою; но Петр не хочет ничего слышать; мальчик стал упрям, повелителен, он не терпит противоречий и проводит время на охоте, в веселых прогулках с неразлучною спутницею - цесаревною Елисаветою Петровною. Чего же смотрит Меншиков? Он сильно болен: кровохаркание и лихорадка изнурили его вконец; он собирается умирать, пишет прекрасное наставительное письмо императору, указывает ему его обязанности относительно России, "этой недостроенной машины", увещевает слушаться Остермана и министров, быть правосудным, пишет и к членам Верховного совета, поручает им свою семью. Что будет, когда умрет Меншиков? Многим будет легко: избавятся от деспота; старинные фамилии поднимутся; князь Дмитрий Михайлович Голицын будет иметь первый голос в гражданских делах, брат его фельдмаршал князь Михаил Михайлович - в военных. Но уже той силы в правительстве, какая была при Меншикове, не будет. Император не женится на княжне Меншиковой.

Меншиков выздоравливает, но роковая болезнь уже произвела свое действие: Петр пожил на свободе и, разумеется, употребит все усилия,

чтобы не возвратиться назад к своему тюремщику. Не хочет этого возвращения Остерман, великая княжна Наталья, цесаревна Елисавета, не хотят Долгорукие и весь двор, не хотят члены Верховного тайного совета. Все готово, но никто не решится начать дела, кроме императора, хотя этому императору только 12 лет. Меншиков вызывает его на борьбу, потому что в государстве и во дворце играет роль самовластного господина. Еще перед болезнью у него была сцена с императором. Цех петербургских каменщиков поднес государю 9000 червонных, которые Петр отослал в подарок своей сестре; но посланный встретился с Меншиковым, который велел ему отнести деньги в свой кабинет, сказавши при этом: "Император еще очень молод и потому не умеет распоряжаться деньгами как следует". Петр, узнавши об этом, спрашивает у Меншикова раздраженным голосом, как он смел помешать исполнению его приказания? Светлейший князь, который никак не ожидал подобного вопроса от покорного до сих пор мальчика, сначала обеспамятел, потом отвечал, что государство нуждается в деньгах, казна истощена и что он в тот же день хотел представить проект, как лучше употребить эти деньги. Петр топнул ногою и сказал: "Я тебя научу, что я император и что мне надобно повиноваться". С этими словами он повернулся к нему спиною и пошел; Меншиков отправился за ним и успел успокоить мальчика, еще не привыкшего к подобным выходкам.

По выздоровлении Меншиков, как видно, забыл эту сцену. Царскому камердинеру дано было 3000 рублей для мелких расходов императора; Меншиков потребовал отчета у камердинера и, узнав, что он дал Петру небольшую сумму из этих денег, разбил его и прогнал. Петр поднял из-за этого страшный шум и принял снова к себе камердинера. В другой раз Петр потребовал у Меншикова 5000 червонных. "Зачем?" - спрашивает Меншиков. "Надобно", - отвечает Петр и, получивши деньги, опять дарит их сестре; Меншиков, взбешенный, велит взять деньги у великой княжны. Петр выходит из себя, не может равнодушно ни видеть, ни слышать Меншикова; а тут старик великий канцлер граф Головкин умоляет государя заступиться за его зятя Ягужинского, которого Меншиков ссылает в Украинскую армию; Петр говорит об этом с Меншиковым, требует удержания Ягужинского в Петербурге; но Меншиков не соглашается и после крупного разговора с самим Головкиным Меншиков настаивает на своем: Ягужинский должен выехать из Петербурга. Меншиков видит, что Долгорукие служат ему дурную службу при Петре, хочет опереться на Голицыных, хочет устроить брак своего сына на дочери фельдмаршала Голицына; князь Алексей Григорьевич Долгорукий, чуя беду, хлопочет о соединении Головкина, Голицына и Апраксина против Меншикова. Но более других должен отвечать Остерман за поведение своего воспитанника. Остерман продолжает давать отчет Меншикову, переписывается с ним, когда отправляется на охоту с императором. 19 августа он писал Меншикову: "Сего момента получил я вашей высококняжеской светлости милостивейшее писание от 19-го. Его императорское величество радуется о счастливом вашей великокняжеской

светлости прибытии в Ораниенбом и от сердца желает, чтоб сие гуляние ваше дражайшее здравие совершенно восставить могло, еже и мое верное всепокорнейшее желание есть; при сем вашей высококняжеской светлости всенижайше доношу, что его императорское величество намерен завтра после обеда отсюда идти и ночевать в Стрельне, а оттуда в понедельник в Ропшу, и надеюсь, что в четверток изволит прибыть в Петергоф, и хотя здоровье мое весьма плохое, однако ж туда ж побреду. Вашу высококняжескую светлость всепокорнейше прошу о продолжении вашей высокой милости и, моля бога о здравии вашем, пребываю с глубочайшим уважением вашей высококняжеской светлости всенижайший слуга А. Остерман". Петр приписал: "И я при сем вашей светлости, и светлейшей кнегине, и невесте, и своячине, и тетке, и шурина поклон отдаю любителны. Петр". 21 августа новое донесение из Стрельны: "Вашей высококняжеской светлости милостивейшее писание из Ораниенбома я вчерашнего ж дня во время самого выезду из С. - Петербурга в путь исправно получил и благодарствую и при сем в скорости токмо сие доношу, что вашей высококняжеской светлости за оное всепокорнейше его императорское величество вчерашнего дня ввечеру, в 9 часу, слава богу, счастливо сюда прибыть изволил, и сего утра, позавтракав, поедем в Ропшинскую мызу при провождении всей охоты нашей. Его императорское величество писанию вашей высококняжеской светлости весьма обрадовался и купно с ее императорским высочеством любезно кланяются, а на особливое писание ныне ваша светлость не изволите погневаться, понеже учреждением охоты и других в дорогу потребных предуготовлений забавлены, а из Ропши, надеюсь, писать будут. Я хотя весьма худ и слаб и нынешней ночи разными припадками страдал, однако ж еду". Любопытно, что ни Петр, ни сестра его в приготовлениях к охоте не находят времени написать Меншикову.

26 августа в Петергофе в день именин великой княжны Натальи Меншиков узнал, что Остерман обманывал его в своем письме насчет расположения императора к нему. Только что Меншиков начинал говорить с Петром, тот поворачивался к нему спиною, на поклоны светлейшего князя он не обращал никакого внимания и был очень доволен, что мог унижать его. "Смотрите, - сказал он одному из приближенных, - разве я не начинаю вразумлять его?" На невесту свою он также не обращал никакого внимания; услышав, что Меншиков жалуется на это, Петр сказал: "Разве не довольно, что я люблю ее в сердце; ласки излишни; что касается до свадьбы, то Меншиков знает, что я не намерен жениться ранее 25 лет".

Приближенные видят, что борьба в разгаре; но чем дело кончится - неизвестно, и, по-видимому, Меншиков господствует, как прежде. В начале августа в Верховном тайном совете было постановлено, что так как расходы государственные определяются вопреки назначению своему, то не выдавать ниоткуда денег без собственноручного повеления императорского. В начале сентября издан указ, что это постановление не касается князя Меншикова, потому что еще при Петре I словесные и

письменные повеления его исполнялись, притом же он по бытности его всегда при дворе часто получает приказы от самого императора.

В Ораниенбауме, имении Меншикова, к 3 сентября готовилось большое торжество - освящение церкви. Меншикову хотелось непременно, чтоб император присутствовал на торжестве: это уничтожило бы слухи о неприятностях между ними, и притом можно было бы постараться разными средствами смягчить Петра и устроить примирение. Самые униженные просьбы со стороны светлейшего князя были употреблены, чтоб склонить Петра к посещению Ораниенбаума, и тот сначала не отказывался, но, когда все было готово, послал сказать, что не будет; есть известие, что Меншиков имел неосторожность не пригласить цесаревну Елисавету. Церковь была освящена без императора. Это было в воскресенье; на другой день, 4 числа, Меншиков приехал в Петергоф на ночь и едва мог вскользь видаться с императором. Быть может, на другой день, день именин цесаревны Елисаветы, можно будет найти случай объясниться. Тщетная надежда: рано утром император отправился на охоту; великая княжна Наталья, чтоб не встретиться с Меншиковым, выпрыгнула в окно и отправилась вместе с братом. Осталась именинница цесаревна Елисавета. Меншиков пошел поздравлять ее; на сердце было очень тяжело, хотелось облегчить себя, высказавшись; и вот светлейший начинает жаловаться цесаревне на неблагодарность Петра, вычисляет свои заслуги и заключает, что, видя все свои старания тщетными, хочет удалиться в Украину и принять там начальство над войском. Не дождавшись возвращения царя в Петергоф, Меншиков отправляется в Петербург со всем семейством. Но в этот же самый день в Петербурге в заседании Верховного тайного совета, где присутствовали Апраксин, Головкин и Голицын, объявлен был указ его величества интенданту Петру Мошкову: "Летний и зимний дома, где надлежит починить и совсем убрать, чтоб к приходу его величества совсем были готовы, и спрошен он, Мошков, был, как те дома вскоре убраны быть могут; Мошков донес, что дни в три убраны быть могут".

Дворцы надобно было прежде всего убрать теми вещами императора, которые находились в доме Меншикова, и в среду, 6 числа, по приказанию Верховного тайного совета все вещи императора были перенесены из меншиковского дома в летний дворец. В этот день Петр был на охоте и ночевал в Стрельне, а на другой день, в четверг, 7 числа, приехал в Петербург и остановился в летнем дворце. Он и с ним вместе многие другие освобождались из-под ига Меншикова; но можно ли было им на этом успокоиться, покончить борьбу, оставив Меншикова в прежнем значении генералиссимуса, члена Верховного тайного совета, с его огромным богатством, с влиянием на войско, на администрацию, где у него везде были свои люди, или отпустив его начальствовать войском на Украине? Борьба, разгоревшаяся до такой степени, что император говорил: "Я покажу, кто император: я или Меншиков", - не могла так кончиться; Петр не мог выносить присутствие Меншикова, им вдвоем было тесно; прекрасное средство освободиться из подобных отношений отъездом

падшего вельможи за границу еще не было тогда изобретено, притом Меншиков выходил из ряду обыкновенных падших министров: его побоялись бы отпустить за границу. Нам говорят, что Петр был упорен в своих желаниях не по летам; мы знаем, как был упорен его отец, но у отца упорство было страдательное, потому что ему воли не было, а у сына была теперь воля: его желания всеми исполнялись, кроме Меншикова, и легко понять, как не любил он Меншикова: "Или я император - или он". Ненависть увеличивалась еще тем, что было обязательство жениться на дочери Меншикова; ненависть увеличивалась тем, что Меншиков считал себя вправе упрекать в неблагодарности. Ненависти можно было предаться: она оправдывалась тем, что, освобождая себя из-под ига, Петр освобождал и других, всю Россию; сестра Наталья Алексеевна не может выносить Меншикова, говорят, она первая поклялась, что нога ее не будет в его доме; цесаревна Елисавета не может быть расположена к Меншикову, особенно после удаления сестры цесаревны Анны. 5 сентября в Петергофе Меншиков с полчаса тайно разговаривал с Остерманом, и есть очень вероятное известие, что разговор был крупный, ибо Меншиков, видя отвращение Петра к себе, должен был прежде всего потребовать объяснения у воспитателя. Чтоб пригрозить Остерману, Меншиков стал его упрекать в том, что он старается отвратить императора от православия, за что будет колесован; Остерман отвечал, что он так ведет себя, что колесовать его не за что, но что он знает человека, который может быть колесован. Наталья, Елисавета, Остерман были главные привязанности и авторитеты; Долгорукие и с ними весь двор вторили им; члены Верховного тайного совета не окажут сопротивления.

Светлейший князь в страшном положении, в каком никогда не бывал при Петре I, потому что тогда от гнева грозного царя были у него постоянно два могущественных защитника - Екатерина и сам Петр. Но теперь где защитники? Меншиков в мучительной тоске ищет, на кого бы опереться, пишет к князю Михаилу Михайловичу Голицыну: "Извольте, ваше сиятельство, поспешать сюда, как возможно на почте, и когда изволите прибыть к перспективной дороге, тогда извольте к нам и к брату вашему князю Дмитрию Михайловичу Голицыну прислать с нарочным известие и назначить число, в которое намерены будете сюда прибыть, а с Ижоры опять же обоих нас паки уведомить, понеже весьма желаем, дабы ваше сиятельство прежде всех изволили видеться с нами". Голицыны приласканы, довольны, они помогут, потому что не захотят видеть усиления Долгоруких или немца Остермана. Этот Остерман больше всех виноват: он обманывал, уверял в добром расположении Петра и сестры его; Остермана надобно непременно свергнуть; но кем заменить, кто был бы угоден? Некем больше, как старым учителем Зейкиным, и светлейший пишет к Зейкину, который еще не успел выехать из России: "Господин Зейкин! Понеже его императорское величество изволил вспомнить ваши службы и весьма желает вас видеть, того ради извольте ехать сюда немедленно; ежели же за распутием ехать сюда не похочете, тогда извольте быть у Александра Львовича Нарышкина, а мы тебя весьма обнадеживаем,

что мы вас не оставим, а паче прежнего в милости содержаны быть имеете".

Еще день, другой - и, быть может, Меншиков вспомнил бы и о Маврине, но ему не дали времени припоминать людей, на которых бы он мог опереться в борьбе с приближенными Петра. В тот самый день, когда он написал письма к Голицыну и Зейкину, 7 сентября, Петр по своем прибытии в Петербург послал объявить гвардии, чтобы она слушалась только его приказаний, которые будут объявлены ей майорами ее, князем Юсуповым и Салтыковым. Вечером этого дня невеста императора и ее сестра явились в летний дворец поздравить Петра с приездом, но были так приняты, что должны были очень скоро уехать. 8 сентября, в пятницу, в день Рождества Богородицы, судьба Меншикова решилась: поутру к нему явился майор гвардии генерал-лейтенант Семен Салтыков с объявлением ареста, чтоб он со двора своего никуда не съезжал. Услыхав это, Меншиков упал в обморок; ему пустили кровь; жена его вместе с сыном и сестрою Варварою Арсеньевую поспешила во дворец, где на коленях встретила императора, возвращавшегося от обедни; но Петр не обратил никакого внимания на просьбы этой достойной женщины, которую все уважали и о которой все жалели. Она бросилась к великой княжне Наталье, к цесаревне Елисавете, но и те ушли от нее, не сказавши ни слова. Оставалась последняя надежда: нельзя ли умилоствовать Остермана, убедить его, что он может не бояться колесования и не погубив светлейшего князя. Три четверти часа княгиня стояла на коленях пред Остерманом понапрасну. Барону Андрею Ивановичу нужно было спешить в Верховный тайный совет, куда должен был приехать сам император. Здесь Петр подписал указ: "Понеже мы всемилостивейшее намерение взяли от сего времени сами в Верховном тайном совете присутствовать и всем указам отправленным быть за подписанием собственныя нашея руки и Верховного тайного совета: того ради повелели, дабы никаких указов или писем, о каких бы делах оные ни были, которые от князя Меншикова или от кого б иного партикулярно писаны или отправлены будут, не слушать и по оным отнюдь не исполнять под опасением нашего гнева; и о сем публиковать всенародно во всем государстве и в войске из Сената".

Меншиков прислал чрез Салтыкова следующее письмо к императору: "Всемилодивейший государь император! По вашего императорского величества указу сказан мне арест; и хотя никакого вымышленного пред вашим величеством погрешения в совести моей не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы вашего величества, в чем свидетельствуюсь нелицемерным судом Божиим, разве, может быть, что вашему величеству или вселюбезнейшей сестрице вашей, ее императорскому высочеству, учинил забвением и неведением или в моих вашему величеству для пользы вашей представлениях: и в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за верные мои к вашему величеству известные службы всемилостивейшего прощения и дабы ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста свободить, памятуя речение Христа, спасителя нашего:

да не зайдет солнце во гневе вашем; сие все предаю на всемилостивейшее вашего величества рассуждение: я же обещаю мою к вашему величеству верность содержать даже до гроба моего. Также сказан мне указ, чтоб мне ни в какие дела не вступаться, так что я всенижайше и прошу, дабы ваше величество повелели для моей старости и болезни от всех дел меня уволить вовсе, как по указу блаженной и вечной достойной памяти ее императорского величества уволен генерал-фельдцейгмейстер Брюс. Что же я Кайсарову дал письмо, дабы без подписания моего расходов не держать, а словесно ему неоднократно приказывал, чтобы без моего или Андрея Ивановича Остермана приказу расходов не чинил, и то я учинил для того, что, понеже штат еще не окончен, и он к тому определен на время, дабы под образом повеления вашего величества напрасных расходов не было. Ежели же ваше величество изволите о том письме рассуждать в другую силу, и в том моем недоумении прошу милостивого прощения". На письмо это не последовало никакого ответа.

На другой день, 9 сентября, в Верховном тайном совете докладывали его величеству о князе Меншикове и о других лицах, к нему близких, по записке руки барона Остермана, которая была сочинена перед приходом государя по общему совету всех членов. Меншикова лишали всех чинов и орденов и ссылали в дальнее имение его Ораниенбург. Государь согласился; по его выходе из Совета указ о лишении чинов был написан; государь подписал его в своих покоях и отправил объявить его Меншикову генерала Семена Салтыкова, который привез во дворец две кавалерии, взятые у бывшего генералиссимуса, - Андреевскую и Александровскую. 10 числа в Верховном тайном совете продолжали рассуждать о Меншикове. Положили дать офицеру Пырскому, назначенному провожать его, 500 рублей на расходы да на 50 подвод прогонных денег, а за другие 50 подвод князь Меншиков должен был платить свои деньги. Призвали новгородского архиерея и сказали ему указ, чтоб впредь обрученной невесты в церквах не поминали. Призвали Алексея Макарова и Петра Мошкова и приказали им, чтоб они взяли у Меншикова большой яхонт. Во время этих распоряжений Меншиков присылает просьбу из четырех пунктов: 1) государыни обрученной невесты Марии Александровны ее гофмейстер просит милости уволить в деревни свои; 2) о деньгах, пожалованных на жалованье ее высочеству и служителям, которые определены были и заслуженное жалованье не брали, оные б (деньги) позволено было вывезть, сумма 34000; 3) светлейший князь просит с покорностию милости о дохтуре и о лекаре, который лекарь шведской породы и полонен и при нем живет с 20 лет, чтоб повелено было при нем отпустить; 4) о Петре Апостоле, гетманском сыне, который жил при его светлости, позволено ль будет его с собою взять? Прежде всего призвали гетманского сына и сказали ему указ, чтоб он с князем Меншиковым не ездил, а жил в Петербурге безвыездно и часто являлся в Коллегию иностранных дел. На остальные пункты последовали решения: 1) кто захочет с нею ехать, тот бы ехал, а кто захочет остаться, тот бы оставался; 2) о жалованных деньгах справиться; 3) дохтуру и лекарю с князем

Меншиковым ехать позволить. В тот же день, в 4 часа пополудни, Меншиков выехал из Петербурга. Впереди огромного поезда ехали четыре кареты шестернями: в первой сидел сам светлейший князь с женою и свояченицею Варварою Арсеньевой; во второй - сын его с карлою; в третьей - две княжны с двумя служанками; в четвертой - брат княгини Арсеньев и другие приближенные люди; все были в черном. Поезд провожал гвардейский капитан с отрядом из 120 человек. По городу ходили слухи о страшных злоупотреблениях Меншикова и о том, что он не довольствовался своим положением, но простирал взоры к короне; рассказывали, что найдено письмо Меншикова к прусскому двору, где он просил дать ему займы 10 миллионов, обещаясь возратить вдвое, как только получит русский престол; рассказывали, что уже отданы были приказания удалить под разными предлогами гвардейских офицеров, чтоб заменить их людьми, вполне преданными Меншикову. Начали толковать и о завещании Екатерины: рассказывали, что герцог голштинский и Меншиков заставили цесаревну Елисавету подписать это завещание вместо матери, которая ничего о нем не знала; говорили, что будет нехорошо и голштинскому двору, и уже читали на озабоченном лице его министра сознание затруднительности своего положения; догадывались, что Меншикова не оставят покойным в Ораниенбурге, что его вместе с свояченицею зашлют в Сибирь, а жену с детьми оставят на свободе; а другие предсказывали, что оба, муж и жена, недолго наживут.

По словам сторонних наблюдателей, трудно было изобразить всеобщую радость, произведенную падением Меншикова. Многие, разумеется, радовались от души; другие же показывали радостный вид, чтоб угодить радующимся от души. В Киле обрадовались от души. Цесаревна Анна Петровна писала сестре: "Что изволите писать об князе, что ево сослали, и у нас такая же печаль сделалась об нем, как у вас". В другом письме Анна писала: "Зело меня порадовало письмо ваше, что уведомилась о здравие вашем, такожде, что государь вам пожаловал деревни матушкины, чем вас поздравляю, матушка моя, и дай боже, чтоб так бы всегда счастливой вам быть; при том прошу вас пожалуйста не отставайте от государя. Пожалуй Лестоку поклон мой рапской отдай и поблагодари за обнадежение милости его, такожде изволь у него спросить, так ли он много говорит про Гришку да Марфушку".

От души был рад Феофан Прокопович. Он писал к одному из архиереев: "Молчание наше извиняется нашим великим бедствием, претерпенным от тирании, которая, благодаря бога, уже разрешилась в дым. Ярость помешанного человека, чем более возбуждала против него всеобщей ненависти и предускоряла его погибель, тем более и более со дня на день усиливала свое свирепство. А мое положение было так стеснено, что я думал, что все уже для меня кончено. Поэтому я не отвечал на твои письма и, казалось, находился уже в царстве молчания. Но бог, воздвигающий мертвых, защитник наш, бог Иаковль, рассыпавши советы нечестивых и

сомкнувши уста зияющего на нас земного тартара, оживотворил нас по беспредельному своему милосердию".

От души были рады члены кружка Бестужевых и Маврина, которые думали, что по низвержении Меншикова опять откроется им доступ ко двору, что Петр прежде всего вспомнит о старых своих приверженцах. Пашков писал Черкасову в Москву: "Прошла и погибла суетная слава прегордого Голиафа, которого бог сильною десницею сокрушил; все этому очень рады, и я, многогрешный, славя св. Троицу, пребываю без всякого страха; у нас все благополучно и таких страхов теперь ни от кого нет, как было при князе Меншикове".

Радовались напрасно.

Меншиков свергнут; надобно было поделить наследство; это наследство была воля малолетнего царя, которою надобно было овладеть, чтоб стать в челе управления, занять место светлейшего князя. Ошибались те, которые думали, что власть перейдет в Верховный тайный совет, а Совет будет находиться под влиянием самого видного из своих членов, князя Дмитрия Михайловича Голицына, опиравшегося на брата своего, фельдмаршала князя Михаила, теперь первую военную знаменитость России. Голицыны действительно сияли собственным светом, но этот свет был слаб в сравнении с тем, которым озарялись ближайшие к солнцу планеты. Никто из вельмож не имел большего права на расположение и благодарность Петра, как Голицыны, изначала и постоянно приверженцы его отца и его самого, считавшие его одного законным преемником деда. Но эта приверженность по принципу редко оценивается как следует; тем менее могла она быть оценена теперь по характеру Голицына, по характеру и положению Петра. Самый лестный отзыв о князе Димитрии состоял в том, что это был человек честный, но жесткий; он не был способен для какой бы то ни было цели отказаться от своей самостоятельности и независимости, передать себя в полное распоряжение другому; совершенно был не способен постоянно смотреть в глаза, угодничеством добиться *фавору* при дворе, а при тогдашних условиях только фаворит мог занять первое место. Меншиков, фаворит Петра I, не хотел быть фаворитом Петра II. хотел быть опекуном, отцом - и чем покончил? Из-под тяжелой опеки освободились и, конечно, поостерегутся дать большое значение человеку, который хоть сколько-нибудь напоминал бы прежнего опекуна. И действительно, современники-наблюдатели указывают нам на сильное нерасположение Петра к Голицыным, указывают на неблагосклонный прием императором первой военной знаменитости империи князя Михаила Голицына, только что приехавшего в Петербург. Объясняли это тем, что Голицыны в последнее время сблизились с Меншиковым и хотели выдать дочь фельдмаршала князя Михаила за молодого Меншикова. Ходил слух, что фельдмаршал на представлении своем императору заступался за Меншикова; быть может, произнесены были неприятные слова. что не следует наказывать, ссылая человека без суда. Естественно. что Голицыны

были не прочь ослабить значение светлейшего князя, заставить его искать в других, поделиться властью, были не прочь дать Верховному тайному совету то значение, какое предоставлено было ему в известном тестаменте, но не хотели совершенным низвержением Меншикова поднимать Долгоруких или Остермана с его Левенвольдом. Голицын не мог бороться за фавор: он не имел решительно к тому средств ни в характере, ни в положении, не будучи человеком близким, придворным. Главою могущественной аристократической партии он быть не мог. Новая Россия не наследовала от старой аристократии, она наследовала только несколько знатных фамилий или родов, которые жили особно, без сознания общих интересов и обыкновенно во вражде друг с другом: единства не было никакого, следовательно, не было никакой самостоятельной силы: сильною могла стать та или другая фамилия только через фавор. Фавору добиваться, за фавор бороться могли только люди близкие, они только могли делить меншиковское наследство. После падения Меншикова виднее всех при дворе и ближе всех к императору остался Остерман. Но положение Остермана по-прежнему было очень затруднительно: он был воспитатель молодого императора, должен был заботиться о том, чтобы Петр хорошо воспитывался, хорошо учился; а Петр не хотел учиться, хотел жить в свое удовольствие. При Меншикове положение Остермана облегчалось тем, что он мог нравиться, угождать, являясь добрее, снисходительнее светлейшего князя, не налегая так. А теперь Петр слышать не хочет о серьезных занятиях, всю ночь напролет гуляет с молодым камергером князем Ив. Алекс. Долгоруким, ложится в 7 часов утра. Все представления Остермана остаются тщетными, усиливать их и раздражать Петра опасно: будет то же, что с Меншиковым. потому что враги поджидают первой вспышки недовольства Петра на воспитателя, чтоб свергнуть последнего, а с другой стороны, вся ответственность за дурное поведение императора, за дурное воспитание его лежит на Остермане, и враги также воспользуются этим, чтоб выказать пред своими и чужими все недостойнство воспитателя. Однажды Остерман обратился к Петру с просьбою уволить его от должности воспитателя, ибо иначе ему придется дать строгий отчет: у Петра сердце не успело очерстветь. он был очень привязан к Остерману: со слезами на глазах он умолял его остаться, но к вечеру не преодолел искушения и, по обычаю, пробегал всю ночь по городу: своей воли не доставало. а чужая не сдерживала. Остерман, видя, что плыть против течения нельзя, пошел на сделку с совестью и с обстоятельствами: он решился остаться при Петре, пользоваться своим влиянием на него для достижения своих целей по делам управления, в которых он теперь не признавал себе соперника, но не учить и не воспитывать человека против его воли, не одобрять поведения Петра, не угождать исполнением его желаний, но и не раздражать бесполезными наставлениями.

Остерман удержался: Петр перестал видеть в нем скучного воспитателя с вечными выговорами и наставлениями, видел в нем искусного, необходимого министра с обширными способностями и познаниями, которых никто отвергать не мог, и успокоился, не выдавал Остермана

врагам; враги эти были разъединены и робки, не смели огорчать императора неприятными для него предложениями, а предложение об удалении Остермана было бы ему очень неприятно: нужно было решиться на сильную борьбу и с Петром, который исполнял только то, что было ему приятно, и с великою княжною Натальею, продолжавшею иметь сильное влияние на брата и продолжавшею быть под сильным влиянием Остермана.

Сначала зашевелился было старик великий канцлер Головкин, которому Остерман был очень неудобен, как человек, заслонявший его в иностранных делах. Против Остермана трудно было что-нибудь выставить, кроме равнодушия к религии, и, говорят, Головкин обратился однажды к нему с такими словами: "Не правда ли, странно, что воспитание нашего монарха поручено вам, человеку не нашей веры. да, кажется, и никакой". Думали, что Головкин хочет заменить Остермана своим сыном. Но борьба с Остерманом была не под силу Головкину, особенно когда ходила страшная молва, что Голицыны хотят захватить власть в свои руки и возвратить Меншикова: а мы видели, в каком отношении находился Головкин к Меншикову, который сослал зятя его. Ягужинского. в Украинскую армию: Ягужинского возвратили тотчас же после падения Меншикова, пожаловали в генералы от кавалерии и в капитан-лейтенанты от кавалергардии: но дела могли пойти иначе с усилением Голицыных и возвращением Меншикова, который, обязанный теперь Голицыным, конечно, не будет препятствовать возвышению близкого им человека - Шафирова, а Шафиров Головкину - острый нож: из двух зол надобно было выбирать меньшее; Головкин выбирает Остермана; нам указывают партию, членами которой были Апраксин, Головкин и Остерман, и 26 сентября состоялось решение Верховного тайного совета: быть Петру Шафирову в Москве до зимнего пути, а зимним путем ехать в Архангельск.

Труднее было Остерману бороться с Долгорукими, которые сначала также хотели свергнуть его. Положение Долгоруких и деятельность их были очень просты и легки: они должны были как можно чаще находиться с императором, во всем угождать ему, делать себя чрез это приятными и необходимыми, приобрести фавор. Долгорукие, как видно, сделали уже большие успехи на этом поприще и при Меншикове, когда князь Алексей был гофмейстером при великой княжне Наталье: теперь, чтоб иметь право быть еще чаще при Петре, он выпросил себе место помощника воспитателя, т. е. помощника Остерманова при самом императоре; сын его, князь Иван, сделан камергером на место Левенвольда, а Левенвольд получил место гофмаршала при великой княжне. Охотники до разных соображений сейчас же обратили внимание на то, что у Долгорукого хорошенькие дочери, которые должны играть роль. Долгорукие в самом начале сильно схватились с Остерманом, который мешал им своим авторитетом, но получили отпор, увидели, что влияние Остермана на Петра поколебать очень трудно. В свою очередь, когда Остерман вздумал было указать Петру, что постоянное общество молодого Долгорукого вредит ему, то император не отвечал ни слова. Остерман заболел от этого

молчания, и Петр два раза в день ездил навещать его с сестрою и теткою Елисаветою Петровною. Несмотря на молодость, Петр с известного рода смыслом распорядился отношениями к близким людям: прямо показывал Остерману, что он его любит, считает необходимым для дел правительственных: пусть, он и занимается этими делами, но не вмешивается в его удовольствия, где необходимы ему Долгорукие, которых он не выдаст Остерману точно так, как не выдаст Остермана Долгоруким. И Долгорукие, и Остерман наконец должны были понять свои взаимные отношения, понять пределы того круга деятельности, которые начертал для них Петр, и успокоились. Но это успокоение, разумеется, не могло быть полно и произойти вдруг.

После падения Меншикова взоры всех хотевших поделить его наследство обратились к Москве, куда светлейший князь перевел бабку императора инокиню Елену, которая, однако, не иначе называла себя как *царицею*. Петр и сестра его по чужим внушениям и сами по себе должны были чувствовать неловкость в присутствии ославленной бабушки, репутацию которой нельзя было восстановить отобранием Петровых манифестов о ее похождениях. Внуки были довольны, что они в Петербурге, а бабушка в Москве; но бабушка не была этим довольна и 21 сентября написала внуку: "Державнейший император, любезнейший внук! Хотя давно желание мое было не токмо поздравить ваше величество с восприятием престола, но паче вас видеть, но по несчастию моему по сие число не сподобилась, понеже князь Меншиков, не допустя до вашего величества, послал меня за караулом к Москве. А ныне уведомила, что за свои противности к вашему величеству отлучен от вас; и тако приемлю смелость к вам писать и поздравить. Притом прошу, если ваше величество к Москве вскоре быть не изволите, дабы мне повелели быть к себе, чтоб мне по горячности крови видеть вас и сестру вашу, мою любезную внуку, прежде кончины моей". Вслед за тем другое письмо: "Дай, моя радость, мне себя видеть в моих таких несносных печалях: как вы родились, не дали мне про вас слышать, ниже видеть вас". Петр отвечал: "Дорогая и любезная государыня бабушка! Понеже мы уведомились (только теперь!) о бывшем вашем задержании и о нынешнем вашем прибытии к Москве, того ради я не хотел оставить чрез сие сам к вам писать и о вашем нам весьма желательном здравии осведомиться. И для того прошу вас, государыня дорогая бабушка, не оставить меня в приятнейших своих писаниях о своем многолетнем здравии. Такожде прошу ко мне отписать: в чем я вам могу услугу и любовь мою показать? Еже я верно исполнять не премину. Я сам ничего так не желаю, как чтоб вас видеть, и надеюсь, что с божиею помощию еще нынешней зимы то учиниться может". Это свидание, необходимое вследствие преднамеренной поездки государя в Москву для коронации, беспокоило многих: что, если кровь заговорит и внук подчинится влиянию бабушки, единственного родного существа у круглых сирот? Предусмотрительный Остерман постарался тотчас же приобрести благосклонность царицы, тем более что его легче можно было погубить в ее мнении, как иностранца, вывезенного Петром 1. Вместе с первым

письмом от внука Елена получила письмо и от его воспитателя. "Всемиловейшая государыня! - писал Остерман. - Когда я о подлинном состоянии вашего величества уведомился, то я не оставил его императорскому величеству немедленно о том доносить; и потому его величество сам изволил при сем к вашему величеству писать, при котором случае и я дерзновение восприял ваше величество о всеподданнейшей моей верности обнадежить, о которой как его императорское величество, так и, впрочем, все те, которые к вашему величеству принадлежат, сами вьяще засвидетельствовать могут". Затем последовал целый ряд писем, в которых барон Андрей Иванович обнадеживал царицу "в горячести", какую чувствует к ней внук, и уверял, что "по своей должности не пренебрежет его величество при тех склонностях содержать стараться". Царица отвечала: "Благодарна за услугу твою, что хранишь здоровье внука моего, и впредь о том же прошу, чтоб мне порадоваться, как услышу про здоровье их, и за писание твое благодарю ж и впредь прошу, а за твою услугу воздаст тебе бог, а сколько силы моей будет, и я вам всегда доброхотствовать буду". Жена Остермана Марфа Ивановна, урожденная Стрешнева, также писала царице: "вручала себя в высочайшую ее величества милость", уверяя при этом, что муж ее государю и ей, царице, со всяким усердием верно служит и служить будет. 22 октября Остерман, посылая царице службу, сочиненную в день рождения государя, рисунок фейерверка, сожженного в этот день, и манифест о коронации, писал: "Яко я на сем свете ничего иного не желаю, кроме чтоб его императорскому величеству без всяких моих партикулярных прихотей и страстей прямые и верные свои услуги показать, так и ваше величество соизволите всемиловейше благонадежны быть о моей вернейшей преданности к вашему величества высокой особе. Потому не распространяю, понеже ведаю, что как его императорское величество, так и ее императорское высочество государыня великая княжна мне в том верное свидетельство подать изволят, и верная моя служба всегда более в самом деле, нежели пустыми словами, явна будет". Елена поняла последние слова так, что Остерман жалуется на людей, которые наносили ей на него, писали пустые слова против него, и отвечала: "Еще ж ты упоминаешь, что будто ясно мне пустыми словами: и я истинно об вас ничего пустога не слыхала, кроме всякой услуги ко внуку моему и ко мне: и ежели б кто мне и говорил, и у меня никогда етова не бывало, чтоб мне верить, и впредь не будет, что я вижу от вас услугу к нему и к себе. И как ты начал служить, так и служи и храни ево здоровье: и я чаю, что ты ни на ково ево здоровье не променяешь, и надеюсь на тебя крепко". Об этом письме царицы узнали, и пошел слух, что действительно Долгорукие, и отец и сын, писали Елене письмо, в котором выставляли свои заслуги, а на Остермана взводили всевозможные обвинения, что Елена переслала письмо Долгоруких к Остерману и в своем письме хвалила его и благодарила за попечение о ее внуках.

Но во время этой борьбы не забывали о Меншикове. Сильно боялись энергической свояченицы светлейшего князя Варвары Арсеньевой, и 5

октября Остерман, пришедши в Верховный тайный совет, объявил, чтоб Варвару послать в Александров монастырь и взять ордена у сына и дочерей Меншикова, также и у Василья Арсеньева, шурина его. После Андрей Иванович объявил в Совете, что кавалерии Св. Екатерины, взятые у сына и дочерей Меншикова, император подарил сестрице своей; кавалерия Св. Александра отдана князю Ивану Долгорукому, а перстень обручальный взят ко двору его величества. Петр по-прежнему делал подарки сестрице, и Остерман заботился о ней по-прежнему: так, еще в сентябре он принес в Совет алмазы, которые предлагал купить для великой княжны за 85000 рублей: члены Совета, видя, что алмазы очень дешевы, согласились купить. Остерман приходил и объявлял: Петр позабыл свое обещание присутствовать в Верховном тайном совете, и члены его воспользовались первым случаем, чтоб напомнить ему об этом обещании. В ноябре русский посланник при шведском дворе граф Головин донес об известном письме Меншикова к шведскому сенатору Дибену. Донесение Головина было прочтено в Верховном тайном совете, после чего члены его представили государю, что по всем поступкам шведов видны их неприязненные замыслы против России; чтоб дать шведам отпор, они, министры, прилагают всевозможное старание о содержании войска в добром порядке и приведении его в лучшее состояние, чем как было при Меншикове, что приказано вооружить к будущей весне 24 линейных корабля и 120 галер и что для поощрения и усмотрения трудов Верховного тайного совета нужно присутствие его величества. На это государь изъявил свое благоволение и обещал чаще присутствовать в Совете. Насчет Меншикова Петр рассуждал, что такие поступки его могут почесться изменою, и приказал послать к нему нарочного, который бы обо всем допросил его с принуждением и угрозами; также приказал опечатать все его имение и обстоятельно пересмотреть находящиеся при нем и в Петербурге письма. К Меншикову отправлен был действительный статский советник Плещеев, которому кроме шведских дел велено было допросить Меншикова о деньгах, взятых с герцога голштинского. Секретарь Меншикова Вист представил в Верховный тайный совет биографию Меншикова (гисторию о княжом житии), сочиненную бароном Гизеном.

В конце 1727 года начались сборы двора в Москву для коронации. Эта поездка имела теперь совершенно другое значение, чем последние поездки Петра Великого в древнюю столицу. Теперь на вопрос, долго ли останется двор в Москве, уже слышался ответ: быть может, навсегда, а этот ответ был очень приятен одним и приводил в отчаяние других. Нравился он русским вельможам, которые до сих пор не могли привыкнуть к неудобствам новооснованного города, в стране печальной, болотистой, вдали от их деревень, доставка запасов из которых соединялась с большими затруднениями и расходами; тогда как Москва была место нагретое, центральное, окруженное их имениями, расположенными в разных направлениях, и откуда так легко было доставлять все нужное для содержания барского дома и огромной прислуги, а это было главное при отсутствии денег, при неразвитой еще роскоши, требующей произведений

иностранных. Ужасом обдавал этот ответ тех, которые в удалении из "парадиза" видели удаление от дела Петра Великого, удаление от Европы, пренебрежение морем, флотом, упадок значения России как европейской державы. Боялись переезда в Москву люди, созданные новым, преобразовательным направлением и в его ослаблении видевшие ослабление собственного значения: в челе таких людей стоял человек самый видный по своей государственной деятельности и близкий к государю - Остерман. За границей смотрели так же на это дело: как только узнали здесь о падении Меншикова, так сейчас же явилась мысль, что вельможи увезут императора в Москву и Россия возвратится к прежнему, допетровскому порядку. Польский король объявил об этом испанскому герцогу Лириа, отправлявшемуся в Россию в качестве посланника. Житель Пиренейского полуострова Лириа привык приписывать английским деньгам страшное могущество, и потому первая мысль, пришедшая ему в голову, была та, что английские деньги заставят и русского царя поселиться навсегда в Москве. Одни с надеждою, другие со страхом ожидали следствий свидания императора с бабушкою: в Петербург доходили вести, что Шафиров под предлогом болезни не поехал в Архангельск по первому пути, а вместо того ежедневно бывает у старой царицы.

В начале января 1728 года двор выехал из Петербурга в Москву, но на дороге император заболел и принужден был пробыть две недели в Твери. Петр остановился на несколько времени под Москвою, чтоб приготовиться к торжественному въезду. Бабушка рвалась к нему: писала к великой княжне Наталье: "Пожалуй, свет мой. проси у братца своего, чтоб мне вас видеть и порадоваться вами: как вы и родились, не дали мне про вас слышать, не токмо что видеть". Писала к Остерману: "За верную вашу службу ко внуку моему и к нам я попремногу благодарствую, а у меня истинно на вас надеяние крепкое. Только о том вас прошу, чтоб мне внучат своих видеть и вместе с ними быть; а я истинно с печали чуть жива. что их не вижу. А я истинно надеюсь, что и вы мне будете ради, как я при них буду: и мне истинно уже печали наскучили, и признаваю, что мне в таких несносных печалях и умереть: и ежели б я с ними вместе была, и я б такие свои несносные печали все позабыла. И так меня светлейший князь 30 лет крушил, а ныне опять сокрушают, а я не знаю. сие чинится от ково". К самому Петру писала: "Долго ли. мой батюшка, мне вас не видать? Или вас и вовсе мне не видать? А я с печали истинно умираю, что вас не вижу: дайте, мой батюшка, мне вас видеть! Хотя бы я к вам приехала". Писала опять к Остерману: "Долго ли вам меня мучить, что по сю пору в семи верстах внучат моих не дадите мне их видеть? А я с печали истинно сокрушаюсь. Прошу вас, дайте, хотя б я на них поглядела да умерла".

4 февраля был торжественный въезд в Москву. Когда было первое свидание с бабушкою, неизвестно: известно только, что оно было холодно со стороны внука, который потом явно избегал свиданий с старою царицею: и брат и сестра при свидании с бабушкою имели при себе

цесаревну Елисавету, чтоб старушка не увлекалась разговорами о некоторых деликатных делах; но уверяли, что царица успела поговорить внуку о его поведении, советовала ему лучше жениться, хотя даже на иностранке, чем вести такую жизнь, какую он вел до сих пор. Внешние приличия были соблюдены: 9 февраля Петр явился в Верховный тайный совет и, не сядя на свое место, стоя, объявил, что он из любви и почтения к государыне бабушке своей желает, чтоб ее величество по своему высокому достоинству была содержана во всяком довольстве: так пусть члены Совета учинят определение и ему донесут. Сказавши это, император удалился, а члены Совета принялись рассуждать о штате для царицы и назначили ей по 60000 рублей в год и волость до 2000 дворов. С этим решением отправились к царице князь Василий Лукич Долгорукий и Дмитрий Михайлович Голицын, причем донесли ей, что если и сверх того изволит чего потребовать, то его величество по особенной своей к ней любви и почтению исполнит ее требование. Определивши со держание бабушки по отцу, не забыли и бабушку по матери: Остерман объявил в Совете, чтоб бабке его величества герцогине бланкенбургской давать пенсию по 15000 рублей в год. Эта бабушка очень хлопотала, чтоб внук вел себя получше и берег свое здоровье; до нас дошли два письма ее, как видно, к брауншвейгскому поверенному в делах при русском дворе, в которых она поручает обратиться к князю Ивану Долгорукому и сказать ему от ее имени, что, зная, как император уважает его достоинства, она умоляет его уговорить молодого государя, чтоб он больше заботился о своем драгоценном здоровье. В другом письме герцогиня пишет: "Дайте почувствовать князю Ивану Долгоруком необходимость вывезти императора из Москвы. Князь Долгорукий человек знатного происхождения, не такой, как Меншиков, вышедший из черни, человек без воспитания, без благородных чувств и принципов; это обстоятельство доставляет мне бесконечное удовольствие, ибо я не сомневаюсь, что этот вельможа (Долгорукий) всегда будет внушать моему дорогому императору чувства, достойные великого монарха".

Решительный фавор Долгоруких обозначился тотчас по приезде двора в Москву: накануне торжественного въезда князя Василий Лукич и Алексей Григорьевич назначены были членами Верховного тайного совета; 11 февраля молодой князь Иван Алексеевич сделан был обер-камергером. Князь Алексей и сын его были всем обязаны приближению, фавору; но между Долгорукими были двое известных своими способностями и заслугами: знаменитый дипломат князь Василий Лукич, как мы видели, получил место в верховном правительственном учреждении; здесь он достойно представлял фамилию подле главы другой соперничающей фамилии - подле князя Дмитрия Михайловича Голицына, и подле другого соперника по приближению и первого дельца - подле Остермана; но у Голицыных был знаменитый полководец князь Михаил Михайлович, фельдмаршал; Долгорукие против него выставили свою военную знаменитость - князя Василия Владимировича, которого военное поприще было прервано опалю, но в последнее время было восстановлено в

Персии; Долгоруким было важно иметь его при себе, и потому под предлогом болезни он был вызван из Персии и 25 февраля, на другой день коронации, был сделан фельдмаршалом вместе с князем Иваном Юрьевичем Трубецким, губернатором киевским. Миних был пожалован в графы; эту милость приписывали тому, что Миних сговорил жениться на обер-гофмейстерине цесаревны Елисаветы графине Салтыковой. Генерал-майор Волынский, назначенный было Меншиковым к удалению в Голштинию, остался в России и был восстановлен на старом своем месте, Казанском губернаторстве, с поручением ему дел башкирских. Мы видели, что Шафиров не поехал по зимнему пути в Архангельск: об нем доносили, что он очень болен, страдает меланхолией и беспрестанным жаром, доктор опасается за его жизнь. В феврале 1728 года Шафиров уволился от всех дел по его челобитной; таким образом он избавился от почетной ссылки в Архангельск, какую назначил ему светлейший князь.

Но сам Меншиков покончил ссылкой в Сибирь. Находившийся при нем в Раненбурге офицер Мельгунов прислал требование, что для лучшего надзора необходимо прибавить еще капральство. По этому поводу 16 января Верховный тайный совет имел рассуждение, не лучше ли послать князя Меншикова куда-нибудь подальше, например в Вятку, и держать при нем караул не так большой. 9 февраля Остерман объявил в Верховном тайном совете, что его императорское величество изволил о князе Меншикове разговаривать, чтоб его куда-нибудь послать, а пожитки его взять, оставив княгине и детям тысяч по десяти на каждого да несколько деревень, и чтоб об этом члены Совета изволили впредь учинить определение, потому что из Военной и других коллегий и канцелярий подаются доношения, что князь Меншиков взял из казны деньги и материалы, и требуют возвращения из пожитков его; также Мельгунов пишет, что многие служители Меншикова требуют отпуску; из деревень к нему пишут, и он отвечает. Верховный тайный совет почему-то замедлил своим решением; но дело подвинулось тем, что 24 марта у Спасских ворот было найдено подметное письмо в пользу Меншикова; следствием было то, что 9 апреля из Верховного тайного совета был дан указ Сенату о посылке Меншикова с семейством в Березов, о даче им и людям их кормовых денег по шести рублей на день и о пострижении Варвары Арсеньевой в Белозерском уезде, в Сорском женском монастыре, и о даче ей по полуполтине на день. Ссылка Меншикова в Сибирь не улучшила участи тех, которые были им сосланы. Мы видели, как обрадовались падению Меншикова члены бестужевского кружка; но оставшиеся из них в Петербурге очень скоро увидели, что возвратить сосланных и пробиться ко двору будет очень трудно: там сильные люди боролись за власть, и один из этих сильных людей, Остерман, с своим приятелем Левенвольдом знали прежние связи и стремления Маврина и Бестужевых. В участи Девьера произошла только та перемена, что жене его позволено было отправиться к нему, т. е. сочли удобным сослать сестру Меншикова под видом позволения соединиться с мужем. В сентябре 1727 года Егор Пашков писал княгине Волконской: "О суетном состоянии нашем всего вам описать не

могу: так было хорошо от крайних приятелей наших, которые нас без совести повреждали; много того случалось, что и смотреть на них не смели; однако же ото всех их нападений избавил нас бог, а их слава суетная пропала вся до конца. Надлежит вам чаще ездить в Девичий монастырь искать способу себе какова. О Семене Маврине и об Абраме стараюсь, чтоб их взять из ссылки, да не могу, чрез кого учинить, все, проклятые, злы на них как собаки. Ныне у нас много хотят быть первыми, а как видим по их ревности бессовестной, не потеряют ли и последнего. Про компанию нашу прежнюю часто и милостиво изволит упоминать (Петр), только от прежних ваших неприятелей невозможно свободного способу сыскать, как бы порядочно донести, однако же хотя и с трудом, только делаем сколько возможно". Черкасову Пашков писал: "Мне кажется, лучше вам быть до зимы в Москве и чаще ездить молиться в Девичь монастырь чудотворному образу Пресвятой Богородицы". "О верных приятелях наших, об Абраме и об Семене, прилежно стараюсь, каким бы случаем их взять, и кажется, что многие об них сожалеют, а говорить никто не хочет за повреждением себя (т. е. боясь повредить себе), а Левольд бессовестно старою своею компаниею их повреждает и всячески тщится, чтоб их не допустить ко взятию; надлежит вам с княгинею Аграфенею Петровною стараться, чтоб каким случаем дойти государыни царицы Евдокии Федоровне и, будет допустит какой случай, обо всем донести с ясным доказательством о ссылке их в Сибирь, а впредь, уповая на милость Божию, как прибудем в Москву, бессовестная *клеотура*, можно надеяться, что скоро пропадет, а их никому удержать будет невозможно. Ныне у нас в Питербурхе многие говорят и показывают верность свою, кто какие заслуги показал, которые безмерно трусят и боятся гневу государыни царицы Евдокии Федоровны, а паче всех боится бессовестная *клеотура* Левольдова; одним словом сказать, как будем в Москве, все будет другое". За границу, в Копенгагене, разумеется, дело не казалось так трудным, и Алексей Петрович Бестужев, получив известие о падении Меншикова, был в полной надежде, что сестра его и приятели могут снова явиться в Петербурге и начать прежнюю деятельность. В октябре он писал сестре: "Конечно б по желанию всех вас и коегождо особно учинилось, ежели б смерть графа Рабутина в том не попрепятствовала и ежели б его императорское величество да не свободил империю свою от ига варварского, то б мне трудно было толь скоро всем вам вспомочь; ныне же уповаю, что вы с друзьями нашими и без посторонней помощи по отлучении известного варвара (Меншикова) всякой сами себе вспомочь можете. Понеже чрез печатные указы опубликовано, чтоб указов Меншикова не слушать, того ради, не ожидая себе никакого позволения, поспешите в С. - Петербург, о чем и к друзьям нашим, господину Маврину и прочим, советуйте, ибо так оным, как и вам, не от его императорского величества, но от Меншикова повелено было". В ноябре Алексей Бестужев писал: "Посол цесарский граф Вратислав в пользу всех вас от двора своего накрепко инструктирован, токмо оная помощь медленна будет, ибо он ко двору нашему прежде не может

прибыть, как после Пасхи. И того ради стараться так о себе, как о Маврине, Петрове и Веселовском, чрез заступу царевны Анны Ивановны".

Ссылные не считали возможным без позволения отправиться в Петербург, но и они крепко надеялись, что Бестужевы с своими петербургскими приятелями освободят их. Абрам Петров писал княгине Волконской из Томска: "Что вы мне обещали сделать, пожалуй, не забудьте, чтоб *Панталон* и *Козел* (Михайла и Алексей Бестужевы) приложили к тому свое старание, особливо больше моя надежда на Козла, что он меня не оставит". Маврин мечтал уже о дворе, о приближении и писал Волконской из Тобольска: "Прошу, чтоб вы труд приложили за меня, а ныне случай будет изрядный, как здесь слышно, что его император, вел. изволит прибыть в Москву и, конечно, с бабушкою своею будет видеться, и тут можно будет обо мне, бедном, вспомнить. Княгине Настасье Федоровне (Лобановой) можете вы растолковать, что у них при его величестве никого нет, на кого бы они прямо свою надежду имели, и им такой человек надобен. Я всегда был их слуга".

Из Тобольска, Томска и Копенгагена торопили; из Петербурга советовали поступать осторожнее. Пашков писал княгине Волконской: "Писал я к вам, чтоб порядочного искать случая, на которое мое письмо изволите объявлять, что сыскать не через кого; в том опасаться не извольте, может, бог хотя одного не оставит компании нашей, то будем довольны; сколько мерзкой клеотуре (креатуре - Остерману и Левенвольду) не искать себе защищения по своим худым делам, только им себя не можно никак закрыть; ведают они и сами, что делали худо, да миновать ныне никак нельзя, что им всем обид заплатить. Отважно ни в какое дело вступать не извольте, пока время покажет спокойное. Надлежит вам всем, буде станете ездить в Девичь монастырь, беречься Степановой Лопухина сестры, которая старицею, чем бы вас не повредила, понеже они люди добрые и очень всем известны по своей совести бездельной". Пашков отыскивал членов разогнанной партии и просил уцелевших от погрома хлопотать при каждом удобном случае о попавших в беду. "Просил я о вас Кириллу Петровича Матюшкина, - писал он Черкасову в Москву, - чтоб он вас не оставил в случае хорошем, что и обещал, а он компании нашей и добрый человек".

Но главная надежда партий основывалась на двух лицах царского дома, на старой царице и на царевне Анне Ивановне. Мы видели, как последняя не щадила униженных просьб к Меншикову и Остерману, чтоб только отпустили назад к ней в Митаву необходимого ей Петра Михайловича Бестужева. Понятно, в каком восторге была Анна, получивши известие о падении Меншикова. Немедленно отправила она письмо императору: "Я неоднократно просила, чтоб мне позволено было по моей должности вашему императорскому величеству с восприятием престола российского поздравить и целовать вашего величества дорогие ручки, но получила на все мои письма от князя Меншикова ответ, чтоб мне не ездить. Ныне паки

всепокорно вашего императорского величества прошу повелеть мне для моей поездки в Петербурх поставить в прибавку почтовых, как прежде мне давано было, лошадей". Такие же письма были отправлены к великой княжне Наталье и к Остерману. Но Анна позабыла, что у Остермана были такие же сильные побуждения, как и у Меншикова, не давать ходу бестужевской партии, не допускать ее покровительницу герцогиню курляндскую хлопотать за нее при личном свидании с императором: Остерман тем более должен был теперь остерегаться Бестужевых, что Петр Михайлович не сидел сложа руки в Петербурге, но, увидавши борьбу между Остерманом и Долгорукими, стал заискивать у последних. Прошло несколько месяцев, и только в конце 1729 года Анна получила приглашение отправиться прямо в Москву на коронацию; тогда же отпущен был к ней и Бестужев, ибо стало известно, что он не может быть опасен, что у Анны уже другой фаворит.

Этот фаворит был знаменитый Эрнст Иван Бирон, или Бирен, сын придворного служителя герцогов курляндских. Говорят, что он еще в 1714 году приезжал в Петербург искать места при дворе принцессы Софии, жены царевича Алексея, но получил отказ, как человек низкого происхождения. Достоверно одно, что в 1722 году он долго сидел под арестом в Кенигсберге за то, что участвовал в ночной драке с городскою стражею. По возвращении в Курляндию он был принят ко двору герцогини Анны благодаря покровительству обер-гофмейстера Бестужева. Это покровительство объясняли связью обер-гофмейстера с сестрою Бирона. Обер-камер-юнкер Бирон сопровождал герцогиню в Москву на коронацию Екатерины в 1724 году и сблизился там с *своими*, с камергером Левенвольдом, что видно из письма его к последнему от 25 июля 1725 года: Бирон описывает несчастье, случившееся с ним в Кенигсберге, говорит, что он выпущен оттуда только с условием заплатить 700 талеров штрафа, и просит ходатайствовать пред прусским двором о сложении штрафа. Не знаем, получил ли Бирон желаемое; знаем только, что он стал известен императрице Екатерине как знаток в лошадях и хороший человек. До нас дошел указ императрицы Бестужеву: "Немедленно отправить в Бреславль обер-камер-юнкера Бирона или другого, который бы знал силу в лошадях и охотник к тому был и добрый человек, для смотрения и покупки лошадей". В отсутствие Бестужева, задержанного Меншиковым в Петербурге, Бирон сблизился с герцогинею и стал ее фаворитом, так что когда Бестужев возвратился в Митаву, то был принят ласково, но между собою и Анною уже нашел другого человека. Герцогиня отправилась в Москву; по прежним расчетам, там своим влиянием она должна была поднять "компанию"; но теперь сделает ли она это, уже высвободившись из-под влияния Бестужева, находясь под другим, враждебным влиянием? Бестужев писал своей дочери княгине Волконской в Москву: "Я в несносной печали: едва во мне дух держится, потому что чрез злых людей друг мой сердечный от меня отменился, а ваш друг (Бирон) более в кредите остался; но вы об этом не давайте знать, вы должны угождать и твердо поступать и служить во всем, чтоб в кредите быть и ничем нимало не

раздражать, только утешать во всем и искусно смотреть, что о нас будет (Бирон) говорить, не в противность ли? Вы ищите случая, как бы вам с вашими неприятелями помириться и брата помирить, а так как друзей Маврина допускать не будут, то вы осторожно поступайте; с Дмитрием Соловьевым дружески поступайте, отпишите осторожно под чужим конвертом о состоянии двора ее высочества (Анны); отпишите, как ее высочество от кого принята будет. Степан Лопухин как был вам неприятель, так и мне делал обиды и затевал на меня, а теща его ко мне добра: вы ищите чрез нее случай с уклонкою с ними в дружбу войти. Абрамова жена (Лопухина) вам сватья и ласкова, вы ищите дружбы и с другими, кто имеет кредит. Вы про ее высочество ни с кем ничего, кроме милости ее, не говорите, потому что обещано мне в милости содержать. Ради бога осторожно живите и пишете, и, как ее высочество сюда поедет, вы старайтесь с нею ехать или и наперед отпроситесь, усмотря, как лучше. Особенно вы должны приобрести любовь князя Алексея Григорьевича и Павла Ивановича (Ягужинского), Степана Васильевича. Если вам станут говорить о фрейлине Бироновой, то делайте вид, что ничего не знаете. Поговорите у себя в доме со Всеволожским, чтоб между служителями ее высочества было как можно более смуты и беспорядка, потому что я знаю жестокие поступки того господина (Бирона). Вы о моей обиде не давайте знать, как будто ничего не знаете; служите старательно и верно, безо всякой противности, хотя что и видите - молчите, только меня уведомляйте; всего печальнее для меня то, что я не знаю, в каком состоянии находитесь вы и прежние ваши друзья: однако я слышу, что Александр (Бутурлин) в кредите. Я в такой печали нахожусь, что всегда жду смерти, ночей не сплю; знаешь ты, как я того человека (Анну) люблю, который теперь от меня отменился". В марте 1728 года Бестужев писал дочери: "Послал я Салова к вам и велел ему побывать на Москве, и от кого можно осведомиться, нет ли гнева на меня ее высочества, потому что из писем вижу и опасаюсь, чтоб наш приятель (Бирон) за наши многие к нему благодеяния не заплатил бы многим злом. Чтоб об нем (Салове) никто, кроме вас, не знал и чтоб сестра ваша не знала, также чтоб он остерегался всех там людей (при дворе герцогини), а особливо тенориста и Кобозова, от которого все зло мне происходит. Салова у себя не держите, отправьте ко мне немедленно, велите ехать не скоро, матери и мужу не сказывайте, что он у меня был, ради бога осторожнее, чтоб не дознались, что отсюда ехал; они могут мне обиду сделать: хотя бы она (Анна) и не хотела, да он (Бирон) принудит".

Никакие осторожности не помогли. Люди князя Никиты Волконского Зайцев и Добрянский явились к Остерману и донесли, что помещице их, княгине Волконской, за продерзости ее велено жить в деревне, не въезжая в Москву, а она живет в подмосковной деревне двоюродного своего брата Федора Талызина, откуда ездит тайно под Москву, в Тушино, для свидания с Юрием Нелединским и с другими некоторыми людьми, между прочим, виделась и с секретарем Исааком Веселовским; ведет тайную переписку со многими лицами в Москву и другие места; недавно привез тайно же из

Митава от отца ее, Петра Бестужева, человек его письма, зашитые в подушке. Волконскую схватили и со всеми письмами от родных и друзей. 10 мая 1728 года в собрании Верховного тайного совета она была допрошена и объявила, что действительно виделась в Тушине с Нелединским и Веселовским, с первым - по свойству, а со вторым - по давнему знакомству и дружеству. У нее потребовали объяснения темных мест в письмах, к кому относятся неблагоприятные отзывы: она нигде не показала на Остермана, вместо него вставляла царевну Анну, хотя иногда и некстати. Волконская запиралась, что по письмам к ней в Москву не ездила и ни у кого не была; но у Талызина нашли от нее такое письмо: "В слободе (Немецкой) побывай и поговори известной персоне, чтоб, сколько ему возможно, того каналью хорошенько рекомендовал курляндца, а он уже от меня слышал и проведал бы, нет ли от канальи каких происков к моему родителю, понеже ему легко можно знать от Александра (Бутурлина), и чтоб поразгласил о нем где пристойно, что он за человек". В допросе княгиня Волконская объявила, что известная персона в слободе - это лекарь цесаревны Елисаветы Лесток, а каналья - Бирон.

В Верховном тайном совете состоялось такое мнение, что "княгиня Волконская и ее приятели делали партии и искали при дворе его императорского величества для собственной своей пользы делать интриги и теми интригами причинить при дворе беспокойство и, дабы то свое намерение сильнее в действие произвести могли, искали себе помощи чрез венский двор и так хотели вмешать постороннего государя в домовые его императорского величества дела, и в такой их, Волконской и брата ее Алексея, откровенности может быть, что они сообщали тем чужестранным министрам и о внутренних здешнего государства делах, сверх же того, проведовали о делах и словах Верховного тайного совета". За такие вины Совет рассудил: княгиню Волконскую сослать до указа в дальний женский монастырь и содержать ее там неисходно под надзором игуменьи; сенатору Нелединскому в Сенате у дел впредь до указа не быть; Егору Пашкову в Военной коллегии не быть; Веселовского сослать в Гилян; шталмейстера Кречетникова записать в прапорщики и послать служить в армейские полки; Черкасова - в Астрахань к провиантским делам. Это мнение отправлено было к князю Алексею Григорьевичу Долгорукому при таком письме: "Сиятельный князь! Понеже дело княгини Волконской и прочих по тому делу ко окончанию привелено, того ради ваше сиятельство просим, изволите по тому мнению его величеству доложить и, что изволит указать, о том нас уведомить. А что написано о Егоре Пашкове, чтоб ему у дел в Военной коллегии не быть, и то в такой силе, что по отлучении от этих дел определить его на Воронеж вице-губернатором. Вашего сиятельства слуги: Апраксин, Головкин, брат ваш князь В. Долгоруков". Князь Алексей прислал ответ: "Сиятельные тайные действительные советники, мои милостивые государи! По письму ваших сиятельств и по присланном приговоре его императорскому величеству докладывал и чрез сие мое объявляю: его величество по приговору ваших сиятельств быть повелел, и

тако сие донесши, пребываю ваших сиятельств низжайший слуга князь Алексей Долгорукой".

Оба брата княгини Волконской, Алексей и Михаил Бестужевы, хотя и заподозренные в приговоре, остались, однако, на своих дипломатических постах; но отец их не мог остаться спокойно в Курляндии. Когда дело Волконской вскрылось, Бестужев был взят из Курляндии "с опалою", бумаги его были запечатаны. Царевна Анна с Бироном были в это время в Москве. Конечно, "креатуры" дали знать "каналье курляндцу", как он трактуется в захваченных письмах. Бестужев недаром писал: "Они могут мне обиду сделать: хотя *бона* и не хотела, да *он*, принудит". Возвратившись в Митаву, Анна старалась поддержать "высочайшую милость" императора и сестры его "всеглубочайшим респектом", которым дышат ее письма к ним, и угождениями. В одном письме она уведомляет великую княжну Наталью: "Доношу вашему высочеству, что несколько собак сыскано как для его величества, так и для вашего высочества, а прежде августа послать невозможно: охотники сказывают, что испортить можно, ежели в нынешнее время послать. И прошу ваше высочество донести государю-братцу о собаках, что сысканы, и еще буду стараться". Анна старалась насчет собак для императора и сестры его; Бирон, будучи в Москве, обещал князю Ивану Долгорукому сыскать для него собаку; по возвращении в Митаву ни о чем больше не думал, как об исполнении своего обещания, и нашел собаку самой лучшей породы. За собак должен был расплатиться Бестужев. В начале августа 1728 года Анна писала царевне Наталье: "О себе вашему высочеству низжайше доношу: в разоренье и в печалях своих жива. Всепокорно, матушка моя и государыня, прошу не оставить меня в высокой и неотменной вашего высочества милости, понеже вся моя надежда на вашу высокую милость". В том же месяце оказалось, от кого было разоренье и печали. Великая княжна получила такое письмо от Анны: "По необходимой моей нужде послала я моего камер-юнкера Корфа в Москву, велела донести его императорскому величеству, каким образом меня разорил и расхитил Бестужев, которого камер-юнкера рекомендую в высокую милость вашего высочества и покорно прошу меня не оставить милостивым защищением. А моя вся надежда крепкая на ваше высочество". В просьбе своей императору Анна писала: "Вашего величества свету похвальное правосудие упричиняет, что я прибежище мое к вашему величеству приемлю и во всей покорности представляю, коим образом прежний мой обер-гофмейстер Бестужев обманом поступал: 1) он, Бестужев, чрез свою злую диспозицию меня разорил; 2) подлинныя доказательства мои, касающиеся отдачи вдовьих маетностей моих, которые отданы от здешнего княжеского правления, тайно утачил и к великому повреждению моему с собою увез, чрез что я осталась без обороны, из чего довольно можно усмотреть, что понеже я на верность его полагалась, а он меня неверно чрез злую диспозицию свою обманул и в великий убыток привел чрез *финесы* свои, как обо всем от меня посланный камер-юнкер Корф обстоятельно представит и доказательство учинит". Вследствие этой просьбы учреждена была

комиссия, чтоб считать Бестужева. Корф был обвинителем; но Бестужев в свою очередь начал насчитывать на Анну свои вещи и деньги. Дело затянулось, несмотря на то что Анна просила Остермана приказать как можно скорее окончить его: "Понеже вашему превосходительству известно, что я разорена, а нынче мой камер-юнкер в Москве, и ежели еще долго пробудет, и мне не без убытку его содержать так долго. А я на ваше превосходительство, в весьма великой надежде, что ваше превосходительство меня не оставите но вашей ко мне склонности и дружбе; а мне изволь верить, что я вам и вашей фамилии вечно пребуду в верности и отслужу за вашу ко мне великую склонность". Вместо Бестужева русский двор назначил для управления делами Анны курляндца Рацкого, вступившего в русскую службу; Рацкий писал Остерману, что при дворе герцогини много лишних людей и царствует сильная роскошь не по средствам: гофмаршалом - Сакен, обер-гофмейстериною - фон ден Рек, камергером - Бирон, сверх того, три камер-юнкера, шталмейстер над двумя цугами и футтер-маршал, две камер-фрейлины, одна камер-фрау и множество гофратов, рейтмейстеров, секретарей, переводчиков и комнатных служителей, которые все ни за что получали жалованье: сверх того, герцогиня приняла еще в службу курляндца Корфа, назначенного в Москву резидентом с жалованьем по 1200 рублей в год; Рацкий жаловался также, что его дурно принимают при дворе Анны.

Падение Меншикова и влияние цесаревны Елисаветы должны были сближать молодого императора с родной его теткою герцогинею голштинскою Анною Петровною. В конце февраля 1728 года приехал в Москву из Голштинии майор Дитмар с известием, что 10(21) февраля у цесаревны Анны родился сын герцог Петр, и с просьбою к императору быть восприемником; Дитмар получил 300 червонных в подарок за радостное известие; при дворе был бал по этому случаю. Феофан Прокопович счел нужным отправить длинное поздравительное письмо герцогу и герцогине: "Родился Петру Первому внук, Второму-брат, августейшим и державнейшим сродникам и ближним - краса и приращение, Российской державе - опора и, как заставляет ожидать его кровное происхождение, великих дел величайшая надежда. А смотря на вас, счастливейшие родители, я плачу от радости, как недавно плакал от печали, видя вас, пренебрегаемых, оскорбляемых, отверженных, униженных и почти уничтоженных нечестивейшим тираном. Теперь для меня очевидно, что вы у бога находитесь в числе возлюбленнейших чад, ибо он посещает вас наказаниями, а после печалей возвеселяет, как и всегда делает с людьми благочестивыми". Описавши огорчения, претерпенные мужем и женою, Феофан особенно останавливается на притеснении от Меншикова и не дает пощады падшему: "Вас постигло то, что почти превышает меру вероятия. Этот бездушный человек, эта язва, этот негодяй, которому нет подобного, вас, кровь Петрову, старался унижить до той низкой доли, из которой сам рукою ваших родителей был возведен почти до царственного состояния, и вдобавок наглый человек показал пример неблагодарной души в такой же мере, в какой был

облагодетельствован. Этот колосс из пигмея, оставленный счастьем, которое довело его до опьянения, упал с великим шумом. Что же касается до вас, то вы можете ожидать всего лучшего оттого, что поставлен в безопасности августейший ваш племянник, наш всемилостивейший государь; но и в вашем доме отец щедрот посетил вас своею милостию, даровав вам сына. Поздравляя вас с таким благом, дарованным для вас, для августейшей фамилии, для многих царств и народов, молю всеблагого бога, чтоб он, услышав ваши молитвы, увенчал ваши надежды исполнением и сохранил родителей и рожденного невредимо радостными и цветущими на многие лета".

Пожелания Феофана не пошли впрок. По поводу крещения новорожденного принца в Киле была иллюминация и фейерверк. Герцогиня хотела смотреть их и стояла у открытого окна в холодную сырую ночь. Придворные дамы представляли ей опасность и затворили окно; она смеялась над ними, хвалясь своим русским здоровьем; но их опасения сбылись: герцогиня простудилась и скончалась на десятый день (4 мая). Так как в завещании она просила, чтоб тело ее положено было при гробах родительских, то велено было отправить в Голштинию генерал-майора Бибикова с архимандритом, тремя священниками, диаконами и певчими и потребною утварью на корабле "Рафаил" и фрегате "Крейсер" под команду контр-адмирала Бредаля.

В том же году случилась беда с человеком, которого при Петре Великом придворные слухи назначали женихом цесаревны Анны Петровны, с Александром Львовичем Нарышкиным. Мы видели, что он попался в девьеровское дело и был сослан в свои деревни. Нарышкин жил в подмосковном селе своем Чашникове. Когда ему дали знать, что император охотится поблизости и что ему, Нарышкину, следует выехать к государю с поклоном, то он отвечал: "Что мне ему, с чего поклоняться? Я и почитать его не хочу; я сам таков же, как и он, и думал на царстве сидеть, как он; отец мой государством правил; дай мне выйти из этой нужды - я знаю, что сделать!" - "Его императорское величество по примерной своей к милосердию склонности и великодушию не указал оное дело розыском вести и чтоб оное, яко весьма мерзкое и ужасное, не могло б разгласиться и в народе рассеяно быть, того ради его величество указал послать его, Нарышкина, в дальнюю его деревню".

Цесаревна Елисавета осталась в России предметом искания для разных женихов, предметом нескончаемых толков для придворных, для министров иностранных. Виднее всех молодых людей был фаворит императора князь Иван Алексеевич Долгорукий, привязанность Петра к которому достигла высшей степени; и вот начинаются толки, что князь Иван влюблен в Елисавету и что Остерман, без которого ничего не может сделаться, нарочно раздувает эту страсть, чтоб погубить обоих - и Елисавету, и Долгорукого. Откажут в руке Елисаветы знаменитому жениху всех выгодных невест Морицу саксонскому, выскажется князь Долгорукий с

негодованием о предложении Морица - это служит подтверждением, что он сам имеет виды на цесаревну. Другой вопрос первой важности, занимающий всех, - это в каких отношениях находятся две силы - Долгорукие и Остерман? Остерман столкнулся с фаворитом, поссорились: Остерман помирился с фаворитом - вот важнейшие новости; от этого зависит возвращение двора в Петербург, чего желает Остерман и чего не хотят русские вельможи; если фаворит помирился с Остерманом, то и он будет уговаривать императора возвратиться в Петербург; да прочно ли это примирение? Князь Иван ненавидит Остермана, а князь Алексей расположен теперь к Остерману, считает его умницею; князь Алексей не любит сына своего Ивана, фаворита, любит другого, вследствие чего самые представительные из Долгоруких делятся: князь Василий Лукич на стороне князя Алексея, заправляет им; князь Василий Владимирович на стороне фаворита. Остерман пользуется этим разъединением, держится, и крепко держится, заправляет делами внутренними и внешними. Его не любят, против него работают при дворе; но, случись какое-нибудь трудное дело в Верховном тайном совете, все обращаются к Остерману, потому что он трудолюбив, на него все любят складывать тяжесть подробностей.

Остерман держится крепко, но покоен быть не может; он силен разъединением противников, но его партия слаба, ему не на кого опереться в случае невзгоды; уже толковали, что старый Головкин должен будет отказаться от должности великого канцлера, но его место займет не Остерман, а князь Василий Лукич Долгорукий, человек, имеющий большую дипломатическую опытность и свой взгляд, противоположный взгляду Остермана. Петр отвык совершенно от серьезного занятия, от серьезных разговоров; кто хотел приблизиться к нему, тот должен был говорить о вещах, ему приятных, доступных: об охоте, собаках и т. п. Остерман не мог, не умел об этом говорить, что же ему оставалось! Да и трудно было найти доступ к императору: он надолго уезжал из Москвы на охоту с Долгорукими, которые могли, умели с ним говорить, умели забавлять его и потому овладели им. Петр дичал, горизонт его суживался; ему неловко уже становилось при чужих людях, а чужими становились все те, которые не участвовали в его забавах. Внук завел свою *компанию*, но эта компания походила одним только на компанию деда - бесцеремонностию, грубостию обращения. Фаворит охорашивался пред иностранными министрами, которые заявляли ему, что он не Меншиков, не из черни, но человек знатный, образованный, что ему следует блюсти за молодым государем, сдерживать его; фаворит охорашивался, начинал играть роль недовольного и отзывался с презрением о компании, в которой отец его был главным лицом; фаворит говорил, что не ездит за город с государем потому, что не хочет быть свидетелем глупостей, которые заставляют делать Петра, и наглости, с какою компания обращается с ним. Но иностранные министры подозревали, что фаворит не ездит с царем для того только, чтоб во время отсутствия царя предаваться собственным удовольствиям; русские современники своими рассказами подтверждали их подозрения.

Фаворит с негодованием отзывался о забавах императора во время его выездов; но если он действительно чувствовал негодование, то не имел силы характера, гражданского мужества для того, чтоб воспользоваться своим влиянием для противодействия этим забавам, или считал, подобно Остерману, всякое противодействие бесполезным для царя и только вредным для того, кто захочет противодействовать. Фаворит уклонялся от выездов по каким бы то ни было побуждениям, не провожала императора и тетка цесаревна Елисавета: между нею и племянником произошло охлаждение, она жила в уединении, но вредные для ее репутации слухи не переставали кружить в обществе; приятели Долгоруких толковали, что князь Алексей нарочно увозит императора так часто и на такое продолжительное время из Москвы, чтоб удалить его от опасной Елисаветы. Стал нравиться императору камергер князь Сергей Дмитриевич Голицын, сын князя Дмитрия, человек, по отзывам современников, достойный; допустить влияние Голицыных - страшная опасность для Долгоруких, и князь Сергея постарались удалить, назначив его посланником в Берлин. Прежде сильным влиянием на императора пользовалась сестра его, великая княжна Наталья, проводница остермановского влияния, но болезненная Наталья занемогла летом 1728 года, не могла следить за братом, провожать его на охоту и 22 ноября скончалась. Таким образом, не было более никакого влияния, которое бы противодействовало влиянию Долгоруких; из женщин Петра провожали на его прогулки княгиня Долгорукая, жена князя Алексея, с двумя дочерьми, и стали толковать, что одна из них будет объявлена невестой императора.

"Все в России в страшном расстройстве, - доносили иностранные посланники своим дворам, - царь не занимается делами и не думает заниматься; денег никому не платят, и бог знает, до чего дойдут финансы; каждый ворует сколько может. Все члены Верховного совета нездоровы и не собираются; другие учреждения также остановили свои дела; жалоб бездна; каждый делает то, что ему придет на ум. Об исправлении всего этого серьезно никто не думает, кроме барона Остермана, который один не в состоянии сделать всего". В этих известиях была правда. Действительно, с первого взгляда все должно было представляться в страшном расстройстве; но при этом видимом расстройстве правительственной машины более внимательные наблюдатели замечали, однако, что народ вообще был доволен: это довольство происходило прежде всего от мира, продолжавшегося уже семь-восемь лет, от уменьшившихся тягостей, поборов людьми и деньгами вследствие мер, принятых при Екатерине 1; по последствия эти мер сказывались только теперь; торговля и промышленность усиливались благодаря деятельности остермановской Комиссии о коммерции что же касается до злоупотреблений, до бесцеремонного обращения с казенными деньгами, то всякий иностранец и прежде, и после мог услышать несколько поразительных примеров и на их основании провозглашать страшное расстройство. Посмотрим же на основании свидетельств неголословных, что было сделано в это время и хорошего, и дурного.

В Верховном тайном совете половина членов - Апраксин, Головкин и Голицын - были недовольны: император не присутствует в Совете, и двое членов его, князь Алексей Долгорукий и Остерман, являются посредниками между императором и Советом; сами они почти никогда не ходят в заседания, и к ним нужно посылать мнения Совета с просьбою провести дело, доложив императору. Мы привели образчик подобной отсылки мнения Совета к князю Алексею Долгорукому по поводу дела княгини Волконской. Для примера подобных же сношений с Остерманом можно привести следующий случай: 4 сентября 1728 года в собрании Совета положено было переменить при гетмане в Малороссии министра, послать вместо Федора Наумова кого-нибудь другого, и представлены кандидаты, генералы Матюшкин, Мамонов и Салтыков, с запискою; об этом решении послан был к барону Андрею Ивановичу Остерману обер-секретарь, которому велено просить барона, чтоб изволил о том доложить императорскому величеству. Остерман приказал господам министрам донести, что по записке их императору докладывать нельзя, потому что не означено точно, кому из трех особ быть при гетмане; он, барон, думает, что император изволит спрашивать их министерского мнения, и для того изволили бы точно определить, кому при гетмане быть; барон изволил при этом также сказать, что завтра у цесаревны Елисаветы Петровны на именинах изволит быть император, будут и министры, следовательно, тут всем сообща можно будет доложить его величеству. Министры Апраксин, Головкин, князь Василий Лукич Долгорукий и Голицын написали другую записку, где указали прямо на Солтыкова, но доклад последовал только 23 октября, и государь посылать Солтыкова в Малороссию не указал. 9 ноября того же года Совет потерял старшего из своих членов - генерал-адмирала графа Апраксина.

Восшествие на престол Петра II удовлетворяло огромное большинство в народе, и потому не могло быть значительных протестов. Преображенскому приказу было мало дела, и его уничтожили 4 апреля 1729 года, в самый приличный день, в Страстную пятницу; дела его были разделены между Верховным тайным советом и Сенатом, смотря по важности. Сенаторам опять в 1728 году Верховный совет сделал замечание в небрежном отпращивании должности, велел спросить, для чего не сидят? В коллегиях по-прежнему чувствовался недостаток в способных членах; опыт показал, что приглашением иностранцев горю помочь нельзя, и Остерман в мае 1728 года представил, что в коллежских членах великий недостаток и, когда случаются вакансии или отлучки, тогда определяются от других дел люди непривычные. Поэтому рассуждено, чтоб во все коллегии выбрать по три человека из молодого шляхетства, которым быть там для обучения, и хотя им голосов не иметь, однако рассуждения от них требовать. Летом того же года велено было коллегиям - Военной, Юстиции, Камер-, Берг - и Ревизион - - и Докладной канцелярии быть в Москву - знак, что двор намерен был остаться в древней столице; в Петербурге оставлены были конторы под управлением одного члена. В Москве уже начали чувствовать неудобства сосредоточения всех дел в

Губернаторской канцелярии и потому начали думать об учреждении особых приказов, одного - для дел гражданских, другого - для уголовных, в которых было бы по одному судье с товарищем; из Московской губернии было показано 21388 нерешенных дел. В сентябре составлен был в Сенате и одобрен в Тайном совете наказ губернаторам, воеводам и их товарищам, необходимый вследствие того, что в предшествовавшее царствование отступили от направления Петра Великого, соединили все дела по-прежнему в одном губернаторском и воеводском управлении, только подчинивши городовых воевод провинциальным воеводам, а этих - губернаторам. В наказе говорится: все прежде бывшие в разных конторах дела, *а ныне в единой собранные* между канцелярскими служителями расписать, как прежде бывало, по вытъя или столы, то есть: у которых судные и розыскные дела или счета и прочее им подобное, у таких никакого денежного прихода не было б, а у которых денежный прием и расход, таким прочим судных и розыскных дел не придавать. Во всех городах в ратушах бурмистрам суд иметь между купечеством и кто на купцов будет бить челом, кроме дел уголовных, которые поручены губернаторам и воеводам; в гражданских делах от бурмистров апелляции к воеводам и губернаторам, а от губернатора - в Юстиц-коллегию. Дворцовые крестьяне судятся между собою в Дворцовой канцелярии, но в уголовных делах - у губернаторов и воевод. Синодского ведомства крестьянам и приказчикам и прочим чинам, кроме духовных, в судах и розыскных делах быть в ведении губернаторов и воевод, а в крестьянских собственных ссорах, в брани, в бою, в займах расправу иметь управителям и приказчикам так, как помещики со своими крестьянами поступают. Подушный сбор положен на губернаторов и воевод, которые имеют окладные книги и по этим книгам собирают деньги по третям года; для сбора быть при них земским комиссарам: деньги эти губернаторы отдают штаб-офицерам, присланным Военною коллегиею, а эти отсылают куда следует по указам. Кроме подушных денег, собираемых на войско, губернаторы и воеводы должны иметь от Камер-коллегии окладную книгу всяким доходам. Если где явится моровая язва, то около тех мест по всем дорогам и по малым стежкам поставить крепкие заставы, дабы отнюдь никакого проезда и прохода не было. В которых домах язва явится, из тех домов людей вывести в особые пустые места и около их завалить и зарубить лесом, дабы они никуда не расходились, а пищу и питье приносить им и класть в виду от них, и, не дожидаясь их, принесшим здоровым людям отходить немедленно, а дома их с пожитками, скотом и лошадьми, если возможно, сжечь с таким осмотрением, чтоб от того другие дома не погорели. За безопасностью от пожаров в городах смотрят ратуши и бурмистры под ведением губернаторов и воевод. Меры предосторожности старые: для стряпни летом делать печи на дворах, в огородах, подалеже от строения, а в хоромах летом нигде не должны топить и поздно с огнем не сидеть; если особой печи за теснотою сделать будет нельзя, то с мая по сентябрь топить только два раза в неделю.

Старые предосторожности против огня - старые пожары! 23 апреля 1729 года в шесть часов вечера в Москве, в Немецкой слободе, загорелся дом, и в полчаса пламя обхватило уже шесть или восемь домов. Гвардейские солдаты с топорами в руках прибежали на пожар и стали, как бешеные, врывать в дома и грабить, грозя топорами хозяевам, когда те хотели защищать свое добро, и все это происходило перед глазами офицеров, которые не могли ничего сделать. Другие русские, сбежавшиеся на пожар, говорили громко: "Что за важность! Горят все немцы да французы". Государя не было в Москве: увидавши зарево, он прискакал во весь дух, и его присутствие остановило грабеж; солдаты начали помогать тушить. Пожар, однако, продолжался до двух часов ночи; сгорело 124 дома, не считая флигелей и служб; потеря простиралась до 300000 рублей. Когда Петру донесено было о грабеже, то он велел забрать виновных; но фаворит постарался затушить дело, чтоб выгородить гренадер, которые все были замешаны, а он был их капитаном.

Другое бедствие продолжало свирепствовать в прежних размерах - это разбои, происходившие особенно на восточной Украине, в странах, близких к козачеству, где еще пахло разинским духом. В 1728 году Верховный тайный совет узнал, что в Алаторском уезде разбойники, человек с 40, выжгли село князя Куракина Пряшево и приказчика убили, сожжено было две церкви и больше 200 дворов. Писали, что пострадало не одно это село и разбойники стоят близ Алатыря в большом количестве со всяким оружием и пушками и хвалятся, что возьмут и разорят город, где гарнизона нет, и для поимки воров послать некого. Писали, что разбойники ездят многолюдством и разоряют в Пензенской провинции и других низовых уездах помещиков и крестьян мучат и бьют; самое главное пристанище их в селе Торцеве, где поселилось года в четыре всякого *многонабродного* народа с пять тысяч человек: живут в горах, земляных избах и лачугах; другие поселились в пустых местах на вершине реки Хопра, по двум речкам Сетреницам и по речке Терешке; иные вновь селятся в пустых, разоренных деревнях на речке Печалойке, а деревни эти разорены и выжжены за воровство, и жители их высланы на старые жилища. Совет предписал деревни эти опять разорить, беглых бить кнутом и выслать на прежние жилища и вновь селиться не позволять; против разбойников послать генерал-майора или полковника с драгунами.

Еще было старое зло, против которого правительство тщетно придумывало разные средства: то были грабежи и проволочка дел в судах. Мы видели, что в царствование Екатерины для скорейшего составления Уложения придумали назначить к этому делу по две персоны из духовных, гражданских, военных и из магистрата. Но дело не двинулось. Теперь придумали другое средство; вероятно, кто-нибудь вспомнил, что при царе Алексее Михайловиче были выборные из областей. Кроме того, переменяли план: оставили свод русского Уложения с иностранным, велели прежнее Уложение пополнить, для чего все указы и новоуказные статьи разобрать: которые из них явятся в пополнение старому Уложению,

а не в противность или что еще потребно сверх того пополнить, то выписывать и приносить в Сенат, а в Сенате слушать немедленно; и когда будет утверждено, подавать в Верховный тайный совет, и когда здесь будет одобрено, то, напечатав, присоединять к соответствующим главам Уложения. Чтоб не было проволочки, как только разобраны будут соответствующие известной главе указы, так сейчас же представлять их в Верховный тайный совет, не дожидаясь остальных. Для этого дела выслать в Москву из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каждой губернии, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири, по пяти человек, за выбором из шляхетства, которым давать по полтине на день человеку жалованья. Новая тяжелая служба! Только что некоторые высвободились из полков по недавним указам, чтоб пожить в деревнях, и вот надобно снова ехать в Москву! Разумеется, начали отбывать; притом лучшие и знающие люди были у дел, и здесь был в них недочет: где же было сыскать праздных? Прислали кого попало, вовсе не добрых и не знающих людей, глухих и хромых, старых и дряхлых, мелкопоместных, имевших по одному двору или даже и ни одного, и опять указ: "Указали мы офицеров и дворян, которые из губерний высланы к Москве для сочинения Уложения, ныне отпустить в дома их по-прежнему; а к губернаторам послать наши указы, чтоб на их место выбрали других знатных и добрых людей, которые б к тому делу были достойны, из каждой губернии по *два* человека, согласясь губернаторам обще с дворянами, и те выборы, закрепя им, губернаторам, и тем дворянам, прислать прежде их (выборных) высылки в Верховный тайный совет, а их самих до нашего указа к Москве не высылать. А ежели усмотрено будет, что губернаторы выберут к тому делу неспособных людей, то взыскано будет на них и для того повелено будет с такими людьми к Москве быть самим губернаторам или товарищам их, чтоб могли сами ответствовать"

Относительно поправления финансов, казалось, все было придумано в прошедшее царствование, как бы ограничить расходы, и оставалось только барону Остерману в своей Комиссии о коммерции хлопотать о поднятии промышленности и торговли и посредством их увеличивать доходы. По доношению Комиссии о коммерции, императорское величество, милосердя к верным своим подданным, повелел табачный торг отворить в вольную продажу с платежом пошлин, дабы купечество от прежде бывшей при табачной продаже службы не токмо было свободно, но тем табачным торгом пользовалось; а казенную продажу и табачные откупы отставить, и впредь оным не быть и ни под каким предлогом и вымыслом не вчинать. Комиссия о коммерции увидала понижение вексельного курса, вред от этого торговле, убыток казне; начала рассуждать; отчего это происходит, и нашла, что из разных коллегий и канцелярий ежегодно за моря переводят чрез вексель большие суммы денег; в России иноземцам по договору за высылку материалов выдаются из казны большие деньги; русские купцы за море на свой счет товаров мало или и ничего не посылают и, кому из них случится в деньгах нужда за морем, берут у иноземцев векселя; и когда на вексель из казны отдача случается, то иноземцы векселя низко держат. Для

поправления вексельного курса Комиссия признавала лучшим средством то, чтоб русские купцы сами умножили отпуска своих товаров за море и корреспондентов имели, потому что в других государствах деньги на государственные расходы чрез купцов переводят, а своего государственного капитала в чужих краях не имеют. Но так как нельзя скоро сравнять русское купечество с иностранным в этом отношении, то Комиссия придумала такой способ, чтоб казенные товары, которые продаются при русских гаванях, - поташ, смольчуг, сибирское железо, икру, клей, треску и сало - продавать в 1728 году на готовые ефимки, которые отдать в Голландии или Гамбурге кому-нибудь в Комиссию, чтоб при первом случае хотя небольшой капитал в тамошних местах завести; если в нынешнем году казенные товары будут у портов дешеветь, то отпустить их на казенный счет в Комиссию этому известному лицу и приказать, чтоб там их продали, а вырученные ефимки держали для подачи по векселям в готовности; а с 1729 года учредить особенную комиссию или контору, которая бы по образцу регулярных купеческих контор могла производить покупку и продажу казенных товаров за морем и держать деньги и векселя для государственных расходов, также без подрядов высылать иностранное серебро в монетное дело. В 1729 году Комиссия о коммерции сочинила Вексельный устав "для пользы и лучшего распорядка в купечестве и для удержания излишних расходов и опасностей".

Усиление промыслов было также предметом забот Комиссии о коммерции. Так, она нашла, что слюдяной промысел в Архангельской губернии и Сибири не размножается потому, что берут с промышленников в казну десятый пуд лучшей слюдой и другие препятствия делаются. По представлению Комиссии промыслу слюдой дана была вольность: кто захочет, тот и промышленяет беспрепятственно, и вместо десятого пуда брать пошлину с настоящей цены по гривне с рубля. По представлению той же Комиссии с 1728 года соляные промыслы и продажа соли отданы были в вольную торговлю. Наконец, Комиссия о коммерции представила, что из сибирских отдаленных мест ездить за позволением заводить разные металлические заводы не только в Петербург, но и в Екатеринбургский Бергамт тяжело, притом же заводчик должен серебро и медь отдавать в казну и платить от прибыли десятую долю, что невозможно делать из отдаленных сибирских мест, и потому в земле скрытое богатство и общая польза остаются втуне.

Вследствие этого представления состоялся указ: за Тобольском в Иркутской и Енисейской провинциях всякий может строить заводы, какие захочет, свободно и безвозбранно и все выработанные металлы и минералы свободно продавать с платежом одной таможенной пошлины; десятой доли от прибыли не брать десять лет; но за границу золото и серебро отпускать запрещается. Горное начальство должно оказывать этим заводчикам всякое вспоможение, давать мастеров и учеников безденежно. Так как в Сибири находятся многие цветные камни, то добыватели могут продавать их без всякой пошлины и явки.

О крестьянах особой комиссии не было; но вопрос, возбудивший такое сильное внимание в предшествующее царствование, вопрос о необходимости облегчения участи крестьян, удерживал свою важность и теперь: в июле 1729 года Сенату объявлен был приказ Верховного тайного совета, чтоб подушных денег в работную пору не правили.

Все современники, как описывающие черными красками состояние России в царствование Петра II, так и находившие светлые стороны в этом времени, одинаково жалуются на печальное состояние армии и флота. Роспуск офицеров по домам, предпринятый, как мы видели, в финансовых целях, не мог не подействовать вредно на армию и флот; кроме того, после ссылки Меншикова не было президента Военной коллегии; Миних был вице-президентом, но, когда коллегия отправилась в Москву, он остался в Петербурге по другим своим занятиям. В Верховном тайном совете рассуждали, что когда Военною коллегиею заведовал князь Меншиков, то вследствие непорядочного управления армия пришла в слабость, сказывается недостаток в амуниции и магазинах; многие молодые и способные офицеры отставлены, и потому необходимо определить в Военную коллегию президента человека знатного, заслуженного и умного, который бы мог все то поправить, также очень нужно быть генералу кригс-комиссару для осмотра армейских полков; в эту должность надобно взять Григория Чернышева из Риги; в Смоленске, как порубежном городе, нужно быть русскому губернатору; в Ригу на место Чернышева отправить Матюшкина; в Петербург генерал-губернатором назначить князя Ивана Трубецкого. В октябре 1729 года Верховный тайный совет доложил государю, что в Военной коллегии уже давно нет президента и членов недостаточно, вследствие чего в делах слабое отправление и остановка, особенно относительно доброго содержания армии, снабжения ее как людьми, так и мундиром. В 1729 году при императрице Екатерине велено было для этого учредить особую комиссию, но указ не был приведен в исполнение; поэтому Верховный тайный совет думает, что теперь надобно его привести в исполнение, рассмотреть, каким бы образом армию содержать в добром и исправном порядке, без излишних расходов; освидетельствовать армейские полки с того времени, как начался подушный сбор: сколько в каждом году который полк получил жалованья, мундира и амуниции, провианта и фуража и что против положения в котором году должно быть в остатке. Комиссия должна рассмотреть штаб- и обер-офицеров, которые по кончине Петра Великого от армейской службы отставлены и определены к делам, также которые и вовсе от дел уволены, и, если которые из них окажутся еще годными к армейской службе, тех определить в нее по-прежнему, чтоб при полках было больше старых офицеров. В этой комиссии быть генерал-фельдмаршалам, находящимся теперь в Москве, и с ними потребному числу из генералитета и полковников; но обстоятельства помешали и теперь комиссии составиться. Не могло осуществиться и намерение Остермана - устроить весною 1729 года в окрестностях Москвы лагерь в 12 или 15 тысяч человек и попробовать, нельзя ли этим средством удержать хотя на несколько

времени Петра от его бесплодных поездок и дать ему некоторое понятие о военном искусстве. Но люди, в руках которых находилась теперь власть, успели провести выгодную для себя меру, которой, как мы видели, они не могли провести при Екатерине: запрещено было принимать в полки вольницу из боярских людей и крестьян.

Строение кораблей было прекращено, хотели ограничиться строением одних галер. В апреле 1728 года в собрании Верховного тайного совета, бывшем в Слободе (Немецкой), во дворце, по довольном рассуждении император указал: для избежания напрасных убытков корабли большие, средние и малые и фрегаты, что касается корпуса их и принадлежащего к ним такелажа, содержать во всякой исправности и починке, чтоб в случае нужды немедленно можно было вооружить их к походу, провиант и прочие припасы заготовлять на них подождать, только изготовить из меньших кораблей пять для обыкновенного крейсирования в море, для обучения офицеров и матросов, а в море без указа не выходить; фрегатов к Архангельску послать два да, сверх того, два флейта; а в Остзее крейсировать двум фрегатам, однако не далее Ревеля; галерам же быть в полном числе, готовить и делать их неослабно. Рассказывают, что Остерман, желая все возвратить Петра в Петербург, подговорил родственника его, моряка Лопухина, представить ему, что флот исчезает вследствие удаления его от моря; Петр отвечал: "Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море; но я не намерен гулять по нем, как дедушка".

И кратковременное царствование Петра II не обошлось без суда над одним из самых видных людей, обвиненным в казнокрадстве. В декабре 1727 года велено было судить адмирала Змаевича за то, что он, имея в своем заведовании галерную верфь и галерную гавань и строение переведенцам светлиц, под видом займа от определенных при тех делах обер-офицеров брал на свои потребности много казенных материалов; отдал иностранному шкиперу, будто по знакомству, казенные канаты безденежно; по его приказанию майор Пасынков переделывал списки служителей, которым следовали заработные деньги, с прибавкою на тех, которым по указам денег давать не следовало, и вследствие этой переделки Змаевич получил 333 рубля, в чем и повинился; при подряде присвоил себе 1100 бревен; большое число служителей своей команды брал для своей собственной работы, в чем не запирался. Суд приговорил Змаевича и Пасынкова к смертной казни; но по решению императора Змаевич понижен был чином, написан впредь до выслуги в вице-адмиралы и послан в Астрахань командиром тамошнего порта, а за ущерб, причиненный казне, велено взять с него втрое; Пасынков написан в капитаны и послан на службу в новозавоеванные персидские провинции.

Если поддержка армии и флота в том состоянии, в каком они находились при Петре Великом, встречала сильное препятствие в самом втором императоре, который ни по летам, ни по привычкам не был способен даже

играть в солдаты и корабли, то остальные дела преобразователя, которые не шли вразрез склонностям государя и интересам вельмож, поддерживались и развивались, ибо сознательного, преднамеренного противодействия делу преобразования мы не замечаем ни в ком из русских людей, стоявших в это время наверху. Петр Великий разослал по всему государству геодезистов для составления ландкарт и описания областей. Дело шло, но к концу не приходило. В 1728 году Сенат, видя, что из многих губерний и провинций ландкарты в Сенат уже присланы, а из некоторых городов не присланы, слушал выписок доношений и справок и, рассуждая, что ландкарты нужны, и если полного описания не кончить, то сводить сделанные уже ландкарты в общие губернские, тем менее составить из них государственную нельзя, распорядился рассылкою геодезистов для составления ландкарт остальным местам. Из Сибирской губернии прислана была только одна ландкарта Тобольского уезда, и потому сибирскому губернатору подтверждено понуждать геодезистов в описании и составлении ландкарт, в которых означать не только жилище русских, но и кочевья тамошнего народа; журналы вести, и из них прилагать к ландкартам экстракты, где какие народы, каких вер и чем питаются, и какой где хлеб родится или не родится, и о прочем, что прилично географическому описанию. Сенату стало известно, что некоторые геодезисты, ездя по уездам, понуждают подавать себе сказки о деревнях, реках, озерах, болотах и расстояниях, чем вводят крестьян в убыток и свое дело задерживают, и потому им велено накрепко подтвердить, чтоб они письменных сказок не требовали, но словесно спрашивали и записывали у себя в журнале.

Мы видели, что по смерти Петра Великого учреждения прекратили присылку известий для напечатания в газетах; Екатерина, узнавши об этом, предписала присылать по-прежнему; но Сенат не распорядился привести в исполнение указ императрицы; теперь Академия Наук вошла в Сенат с доношением, что при академической типографии печатаются газеты на латинском, немецком и российском диалектах с иностранных газет и чтоб велено было из коллегий, канцелярий и контор всякие ведомости для напечатания в газетах присылать в Академию; Сенат привел в исполнение указ покойной императрицы. Академия имела свою типографию. В октябре 1727 года, по доношению Синода, велено быть друкарням (типографиям) в двух местах: для напечатания указов - в Сенате, для напечатания же исторических книг, которые на российский язык переведены и в Синоде одобрены будут, - при Академии; а прочие типографии, которые были в Синоде и в Александровском монастыре, перевести в Москву и печатать только одни церковные книги, и Синоду смотреть прилежно, чтоб в печатании этих книг никаких погрешений и противности как закону, так и церкви быть не могло Академия Наук, требуя для печатаемых ею газет известий отовсюду, сама заявляла в газетах о своей деятельности по поводу разных торжественных случаев. Так, в "Петербургских ведомостях" 22 февраля 1729 года было напечатано: "В будущий понедельник, т. е. 24 дня сего месяца, в 9 часу поутру, будет здешняя императорская Академия Наук

ради торжественного дня коронавания его императорского величества публичное собрание иметь, в котором г. профессор Лейтман предлагать будет о новоизобретенных весках без стрелки, которые зело исправно сделаны, такожде и о полиэдре, которое персону его императорского величества Петра Второго, безобразне изображенную, весьма ясно показывает, на что г. профессор Мейер именем всея Академии будет ответствовать". 25 февраля напечатан был отчет о торжестве: "Вчерашнее публичное собрание Академии Наук зело преславно отправлялось. Были епископ псковский Рафаил, адмирал Сиверс, граф Миних. Обе машины были всем зрителям ради осмотра оных поставлены, причем большая часть особливо о искусно граненном полиэдре удивлялася, понеже во оном вместо написанного в середине доски российского орла персону его императорского величества Петра Второго видели, которая из многих меж другими фигурами разделенных частей паки совершенно соединялася, и оную зело ясно видеть возможно было". 29 октября Академия удивила праздником не в честь какого-нибудь русского счастливого события, но в честь рождения дофина во Франции. "29 октября отправлял г. профессор Делиль ради счастливого рождения дофина во Франции великое торжествование. Торжество происходило в большой академической зале. При входе в залу и внизу на лестнице поставлено было на караул 30 человек гренадеров. Все кушанье было зело деликатное и в великом множестве. Самые лучшие виноградные пития были каждому по требованию подаваны, а за здравие пили при игрании на трубах и битии на литаврах; снаружи были такожде все палаты со всех сторон иллуминованы; такожде имела бы и большая башня обсерватория во всех жильях лампадами иллуминована, и на спице той башни иллуминованный лазоревыми золотыми лилеями украшенный небесный круг поставлен быть, но великий ветер и дождевая погода в том препятствовали. А как покушали, чинено приуготовление к балу, который от г. Штерлинга с госпожою Делилшею и от г. генерал-майора фон Тессина с фрейлиною фон Сивершею начат".

Академия Наук поделила типографию с Синодом; в ее руках издание "Ведомостей"; но у Синода осталась цензура книг, печатаемых в академической типографии. Западное образование допускается под условием не вредить православию. Для многих вопрос об отношениях нововводимого просвещения, преобразования к старому православию был на первом плане: церковь должна быть охранена от влияния иноверных учителей. Но подверглась ли уже она этому влиянию? Чисты ли от него все пастыри церкви? Новая форма церковного управления достаточна ли для того, чтоб охранить православие в опасной борьбе? Не следует ли возвратиться к прежней форме, тем более что движение к старым формам уже началось в областном управлении? Эти вопросы занимали очень многих, и потому неудивительно, что по поводу их происходит борьба, за них хватаются люди, преследуя свои личные интересы, нападая на своих врагов и соперников или защищаясь от них. Мы видели, как по смерти преобразователя, когда свободнее и спокойнее можно было заняться

разными вопросами, возбужденными преобразованием, главный деятель преобразования в сфере церковной Феофан Прокопович подвергся нападениям: враги увидели, что это не Феодосий Яновский, что его не так легко свергнуть, как последнего: но зато и Феофану пришлось пережить тяжелое время, когда он, первый архиерей русский, оставлен был в подозрении, когда ему объявили, что он освобождается от должного ему наказания только по милости императора. Разумеется, он не мог быть покоен при Меншикове. в котором видел врага своего. После ссылки светлейшего князя Феофан вздохнул спокойнее, но не избавился от опасности; по-прежнему должен был вести трудную оборонительную войну, с напряженным вниманием следить за движениями врагов. Самым главным, самым опасным врагом Феофана был. естественно, самый видный по энергии, способностям и связям архиерей Георгий ростовский, стремившийся к первенству, думавший и о восстановлении патриаршества для себя и потому необходимо сталкивавшийся с Феофаном, занимавшим первое место. Обстоятельства после ссылки Меншикова были таковы, что могли возбуждать в разных лицах разные надежды и заставлять их начинать движение, начинать борьбу; но обстоятельства были вместе таковы, что не допускали решительного окончания борьбы. Когда Меншиков сильною рукой держал правление, тогда решение всех вопросов зависело от него и. конечно, он не мог благосклонно отнестись к мысли о восстановлении патриаршества. После его падения такого сосредоточения власти уже не было; все зависело от того, кто в известную минуту и в известном вопросе окажет больше влияния на молодого императора. За это влияние спорили или делили его полюбовно Остерман и Долгорукие. Остерман не мог, разумеется, желать восстановления патриаршества, РИ все симпатии его были обращены к Феофану: оба они были дети одних и тех же условий известного времени и должны были подавать друг другу руки для поддержания этих условий, для поддержания направления, господствовавшего при Петре Великом; Долгоруким не было ни времени, ни охоты думать о вопросах, подобных вопросу о восстановлении патриаршества; у них было одно на уме - удержаться б фаворе, закрепить его для себя как можно сильнее. Для других вельмож придворные отношения - придворная смута была на первом плане; все внимание их было обращено туда, все другие дела покидались; при случае могли потолковать о Синоде и патриаршестве и высказать свое сочувствие к последнему, высказать больше сочувствия к Георгию, чем к Феофану; но словами это сочувствие и ограничилось, и Георгий Дашков понапрасну раздаривал лошадей своим влиятельным людям, как утверждали его враги. Таким образом, Феофан мог держаться крепко против всех нападений, на него направленных. Другая громадная выгода его положения состояла в том, что враги были гораздо ниже его по своим личным средствам, борьба с ним была тяжела; если и Меншиков не мог решиться наложить свою тяжелую руку на эту звезду красноречия и учености, то кого другого можно было заставить содействовать низвержению Феофана? Многие могли его не любить, как Остермана, но когда представлялся случай,

требовавший особенного знания и умения, то должно было обращаться к Феофану, как в затруднительных вопросах дипломатии и внутренней администрации обращались к барону Андрею Ивановичу. Преобразование сделало свое дело: оно породило потребности, для удовлетворения которых необходимы были Остерманы и Феофаны; Феофан Прокопович мог быть свергнут таким же Феофаном Прокоповичем, но никак не Георгием Дашковым с товарищи.

Но Георгий после падения Меншикова начал борьбу, думая, что обстоятельства теперь благоприятны; его, как многих других, манила надежда на Москву, куда собирался двор для коронации, манила надежда на влияние царицы-бабки. Средство действовать против Феофана было указано - обвинение в неправославии; орудие также готовое - старый обвинитель, Маркелл Родышевский. Маркелл в конце 1727 года подает в Верховный тайный совет донос, что с 1722 года появились в России разные книжки неизвестно чьего сочинения и неизвестно кто осмелился одобрить эти книжки указом императора Петра Великого и тем опорочить его преславное имя, потому что в них содержится кальвинская и лютеранская ересь. Но прежде чем донос был подан, Феофан, узнал о нем, достал его и представил в Синод вместе с своими опровержениями. "В этом злоречьи, - пишет Феофан, - заключается не одна ложь, но плевелы и клеветы мятежные: Синод обвиняется в ереси и достойной смерти дерзости, ибо выходит, что Синод дерзнул опорочить славное имя Петра Великого, потому что книжки напечатаны по приказанию Синода". В заключение Феофан внушает Синоду, что "хотя мятежеслов Маркелл дерзок и шаток, бесстыден и бессовестен, однако отнюдь не отважился бы так поступать сам собою; но есть один или несколько людей, которые для интересов своих, им душепагубных, церкви же и государству зловерительных. сего злодея употребляют к такому возмущению и его в продерзостях беспечальна творят и великими обещаниями дурака обнадеживают". В доказательство этого Феофан скоро представил в Синод расспросные речи двух своих слуг, которые разговаривали с Маркеллом в Невском монастыре: по их показанию, Маркелл говорил: "Я желаю покориться его преосвященству (Феофану), пошел бы я на коленях в дом его архиерепства из Невского монастыря, только б меня во всей моей вине простил, да не велит мне вышняя моя власть, преосвященный ростовский, который вскоре будет патриархом, да превысокие мои господа и милостивцы, на которых и надеюсь".

С таким напутствием от обеих борющихся сторон отправился Синод в Москву. 8 января выехал двор из Петербурга. 13-го убежал из Невского монастыря Маркелл прямо в Москву, оставив на имя архимандрита любопытное письмо: "Понеже получил я именной его величества словесный указ - ехать мне по моей челобитной в Москву, того ради и поеду прямо, и гнать за мною не для чего, понеже в лицо, а не от лица еду и не ухожу, только от бед избавляюсь. *К тому несобственный никакой имею интерес явится ее величеству, всепресветлейшей государыне*

императрице Евдокии Феодоровне". Когда в Синоде началось дело Маркелла, то Феофан отстранил Дашкова, как причастного к делу. Тогда Маркелл, видя беду, сделал то же, что часто дельвали люди в его положении: перевел дело в Преображенскую канцелярию, объявив за собою государево слово. Здесь он донес, что в службе на праздник по случаю мира с Швециею заключается поношение чести царевича Алексея Петровича: в "Правде воли монаршей" написано против прав царствующего государя и т. д. Доносить об этом было не нужно, потому что все это было всем известно, и в марте 1729 года по указу Верховного тайного совета Родышевский был отослан в Симонов монастырь, чтоб быть ему там неисходно. Феофан остался нетронут, и надежды Дашкова на патриаршество не осуществились: не осуществились надежды на покровительство "государыни императрицы Евдокии Феодоровны".

Как только по смерти Петра Великого обнаружилось враждебное движение против главных деятелей церковного преобразования, когда Феодосий был сослан и Феофан подвергся нападкам за неправославное, именно протестантское, направление, так, естественно, должны были вспомнить о покойном Стефане Яворском, который обвинял Прокоповича в том же направлении. Мы видели, что еще при Екатерине подняли вопрос об издании книги Яворского "Камень веры", написанной против протестантов. При Петре II Верховный тайный совет окончил это дело: в заседании 25 октября 1727 года велено книгу "Камень веры", которую свидетельствовал тверской архиерей (Феофилакт Лопатинский), к нему послать, чтоб он на ней подписал своеручно, что он ее свидетельствовал, а как подпишет, послать в Синод при указе, чтоб, напечатав ее, пустить в продажу. На другой день посланный к Феофилакту донес, что архиерей книгу своеручно не засвидетельствовал, а объявил, что ему ее еще надобно посвидетельствовать и поправить и чтоб на то время дано было ему до 28 числа. С такими предосторожностями была издана наконец книга, которой суждено было иметь такую громкую известность.

Но в то время, когда печатали книгу против протестантов, генерал-майор Алексей Потемкин донес из Смоленска, что здесь между шляхтою распространяется католицизм и некоторые из принявших латинство смолян находятся в Москве. Один из них, Ларион Лярский, уехал за польский рубеж и постригся в ксендзы. Верховный тайный совет велел смоленского епископа выслать в Москву, а на его место назначить другого, вызвать в Москву и всех смолян, принявших латинство, в Смоленске завести школу. Смоленский епископ Гедеон составил пункты о мерах к удержанию смоленской шляхты от принятия латинства; пункты были утверждены Верховным тайным советом и состояли в следующем: находящимся на границе караульным офицерам и драгунам подтвердить с жестоким прещением, чтоб из Польши и Литвы не допускали выезжать в Россию римских ксендзов, а смоленскую шляхту выезжать за границу без указа и паспортов. Если какой-нибудь ксендз придет по своим делам, о таком объявлять губернатору, а губернатор дает знать архиерею; ксендзу

назначается время, в какое он должен исправить все свои дела, и берется с него письменное обязательство, чтоб он русских людей по римской вере не исповедовал и не причащал, никакими вымыслами к своей вере не склонял, в дома их для того ни тайно, ни явно не ходил и не носил другого платья, кроме того, какое носят ксендзы. У всех смоленских шляхтичей взять сказки под жестоким истязанием, чтоб они нигде с римскими ксендзами ни тайно, ни явно сообщения не имели, в дома к себе их не пускали, для исповеди к ним не ходили и никаких наговоров от них не слушали. Ослушников ксендзов и шляхтичей брать и, сковав, присылать в Сенат немедленно; Сенат расспрашивает их и доносит немедленно же в Верховный тайный совет и послабления в том никому никакого не делает. Смоленской шляхте детей своих для науки за границу в Литву и никуда отнюдь не отдавать, отдавать в смоленские, московские и киевские школы. Если кто по обучении в русских школах захочет ехать в другие государства, тех отпускать под присягою и брать поруки, что отъезжающий за границу не останется, веры греческого исповедания не переменит и против Российской империи в службу нигде ни к кому не вступит. Смоленской шляхте в домах своих для обучения детей и родственников отнюдь не держать римских учителей или инспекторов, а иметь инспекторов из русских подданных и веры греческого исповедания; если же таких сыскать не могут, то по нужде могут брать из-за границы, только православной веры греческого исповедания и со свидетельством архиерейским; а когда русских инспекторов будет довольно, тогда из-за границы не брать никого, чтоб под видом православных не было римской веры ксендзов. Если из-за польского рубежа римской веры девицы и вдовы захотят выйти замуж за смоленских шляхтичей, то им это позволять, когда они примут православную веру греческого исповедания, а смоленской шляхте дочерей и родственниц за границу замуж не выдавать за католиков и униатов. Из смоленской шляхты желающих постригать в монахи в указные лета, а возвратившихся из-за границы шляхтичей, которые стали там ксендзами и захотят быть в греческой вере монахами или бельцами, принимать и писать о том в Синод. Школы в Смоленске завести и быть им в городе при монастыре; учителей брать из киевских монастырей и из московских школ по указам из Синода: учить латинскому, французскому и немецкому языкам, и, которые захотят быть в священниках, тех учить и греческому языку. Смольнян, принявших католицизм, сначала велено было отправить в ссылку и деревни отобрать в казну, но в сентябре 1728 года Остерман объявил в Верховном тайном совете императорский указ, чтоб их не ссылать, оставить на житье в Москве и деревни не конфисковать.

Но в то время как принимались такие строгие меры, чтоб ксендзы не пробрались в Смоленск и под видом учителей и инспекторов не водворялись в шляхетских домах, ксендз под этим именно видом пробрался в Москву и совещался здесь с русскими духовными о соединении церквей. Этот ксендз был аббат Жюбэ, приехавший в 1728 году в Россию под видом наставника детей княгини Ирины Петровны Долгорукой, урожденной Голицыной, которая приняла католицизм, будучи

с мужем своим князем Сергеем в Голландии. Пользуясь покровительством двух самых сильных фамилий, Долгоруких и Голицыных, и посланника испанского герцога Лирии, Жюбэ в подмосковной Голицына толковал о соединении церквей с тверским архиереем Феофилактом Лопатинским и другими знатными духовными лицами.

Неизвестно, по каким побуждениям приняты были меры и против протестантской пропаганды. В ноябре 1728 года препозитом лютеранских церквей объявлен был синодский указ, чтоб пасторы не дерзали русских православных христиан учить своим догматам и привлекать в лютеранскую или другие веры. Приходящих на исповедь детей духовных пасторы должны спрашивать не были ли они в вере греческого исповедания, и если окажется что были, то таких не принимать, но немедленно объявлять о них в канцелярии Синода. При браках спрашивать, оба ли сопрягающиеся лица лютеранской веры, одно из них не греческого ли исповедания и невеста не оставила ли живого мужа за несогласием относительно веры.

Касательно дел на окраинах, на Дону шел старый и жизненный для козачества вопрос о выдаче беглых. Летом 1728 года отправился в Черкасск полковник Тараканов, чтоб высланы были все беглые, поселившиеся на Дону с 1695 года. Козаки собрали круг, прочли императорскую грамоту, посоветовались и пришли к Тараканову с объявлением, что во всем будут исполнять государев указ и вышлют беглых, поселившихся у них с 1712 года; о пришедших же с 1695 по 1712 год посылают в Москву старших бить челом его императорскому величеству: выслать этих беглых нельзя, потому что из них у нас старшины и все лучшие люди и его императорского величества слуги; если их выслать, то все городки опустошить, службы служить, границы и черты охранять будет некому. Вместе с этими вестями пришли вести более тревожные: полковник Роговский, командированный с полком в транжемент на перемену, приехал в урочище Распопинский Юрт; наказной атаман Яким Расторгуев выехал к нему навстречу, привез проводников, но при этом начал говорить: "Дай тебе бог дойти до транжемента в добром здоровьи, потому что у нас по Дону и по другим запольным речкам не смирно: козаки волнуются, потому что хотят высылать беглых с 1695 года, опасно, чтоб, собравшись, не ушли на Кубань: по степным местам к Кубани дорога им безвозбранная". Фельдмаршал князь Михаил Михайлович Голицын, донося об этом в Верховный тайный совет, писал: "Я дал указ Чекину, что, если из расспросов Расторгуева будет достоверно козацкое возмущение, дал бы мне знать как можно скорее, а сам бы с полками был готов; смотря по ходу дела, я сам пойду для усмирения козаков или пошлю генерала Вейсбаха. Только доношу: Чекин репортовал мне, что в его полках больных более 600 человек и число их беспрестанно увеличивается, на день занемогает человек по 20 и по 30, штаб - и обер-офицеры едва не все больны, и если козацкое возмущение действительно вспыхнет, то тамошним царицынским корпусом утушить его нельзя; в Малороссии и слободских полках

находится только 10 полков, но и то за раскомандированием очень малолюдны, едва по 300 человек в полку; притом здешние места оставить небезопасно, и на ландмилицию за ее новостию, что люди огня не видали, слабая надежда".

Когда в Верховном тайном совете выслушано было донесение Голицына и отписки Донского войска с просьбою не выдавать беглых раньше 1712 года, то решили беглых вывозить с 1710 года; атамана Расторгуева подвергнуть розыску; князь Голицын должен послать в команду свое предписание, чтоб прежде времени с донскими козаками не поступали жестоко. Расторгуев с пытки не повинился; но так как полковник Роговский подтвердил свое показание присягою, то атамана сослали в Сибирь. При всяком слухе о какой-нибудь смуте, о самозванце козаки были тут; так, разглашали, что у Евдокии Лопухиной есть сын, которого она хочет воцарить, и что он живет на Дону у козаков, и что подметные письма, явившиеся в Петербурге, подкинута козаками. Смута, впрочем, никаких не было при Петре II; даже раскольники в своих пророчествах говорили: "Антихристовы страсти - исповедные всенародные тричастные книги умершим, новорожденным (метрические книги), и нашим Российским государством овладеют еретики, и что ныне Синод, то антихристов престол, и будет князь великий императором вторым, и при нем сыщется истинная вера пред богом и будет людям жить добро, да недолго".

С донскими козаками не велели поступать жестоко потому, что приходили известия о калмыцких и башкирских движениях. В конце 1727 года получены были из Казани известия, что калмыки находятся не в прежнем состоянии: к Дундуку-Омбо приехали башкирские посланцы, 12 человек, и объявили, что у них пронесся слух, что будто калмыки намерены воевать против России, и если это правда, то приняли бы они и башкирцев к себе в союз; эти посланцы остались у Дундука-Омбо, дожидаются, на что решатся калмыки, переправившись с Луговой стороны на Горную. Вследствие этого русским правительством отправлены были по всем дорогам увещательные грамоты, чтоб башкирцы жили спокойно и, если от кого есть им обиды, чтобы жаловались и получают удовлетворение без волокиты, могут ехать с жалобами в Петербург или Москву; асессор Уфимской провинции Лихачев, обвиняемый башкирцами в обидах и взятках, был вызван к ответу.

В распоряжениях относительно Малороссии, состоявшихся при Меншикове, не было сделано никакой перемены. В тайной инструкции Наумова говорилось: хотя в грамоте его императорского величества, с ним посланной к малороссийскому народу, и в данной ему инструкции написано, что его императорское величество указал в Малой России гетмана выбрать по-прежнему обыкновенно, однако сие избрание написано для лица, а в самом деле его императорского величества соизволение быть гетманом миргородскому полковнику Данилу Апостолу, зачаемо, что от народу не иной кто, но он, Апостол, по старшинству и по заслугам и ради

имеющегося его у них кредиту избран будет. Прибыв в Глухов смотреть и разведывать, его ли, Данила Апостола, в гетманы народ будет избирать, и ежели б некоторые из того народа о ком ином намерение имели в гетманы обирать, в таком случае того предостерегать и путь к тому предуготовить, чтоб, конечно, Данилу Апостола, а не иного кого в гетманы народ избрал. А как приедет в Глухов Данила Апостол, и ему объявить секретно, что его императорское величество указал его, а не иного кого в гетманы обрать и чтоб он служил верно и непоколебимо. Ежели, паче чаяния, старшина и народ малороссийский Данилу Апостола в гетманы обирать не станут, а будут выбирать иного кого по своей воле, и ему, Наумову, того учинить не допустить и то обрание под каким пристойным претекстом остановить и писать в Коллегию иностранных дел. Наумов, приехав в Глухов 18 сентября, объявил, что государь указал быть у них, в Малороссии, гетману по-прежнему, кого они выберут из малороссийского народа вольными голосами по прежнему обыкновению. Потом Наумов спрашивал *партикулярно и обще*, кого хотят выбрать в гетманы, и получил единогласный ответ, что миргородского полковника Данилу Павловича Апостола. 1 октября созвана была рада из духовных и светских людей. Министр спрашивал всех вслух, кого себе избирают в гетманы? И все единогласно сказали, что желают миргородского полковника. И долгое время все его просили, до последнего человека, а он отговаривался, что стар и такого великого правления понести не может. Тогда тайный советник и министр объявили, что по избранию малороссийского народа его императорское величество жалует Апостола в гетманы. Тут полковники, подхватя его под руки, поставили на стол, все поздравляли его и шапками на него махали. Новоизбранный бил челом за милость его императорского величества, а народ кланялся. Из чиновников упраздненной Малороссийской коллегии Наумов должен был некоторых удержать в Глухове, потому что явилась странность: он привез с собою копию с приходных ведомостей, получавшихся в Сенате от президента коллегии Вельяминова, но когда Наумов сравнил эти ведомости с поданною ему в Глухове за секретарскою рукою, то нашел большую разницу, а именно: в 1722 году в сенатской ведомости показано было в приходе 45527 рублей, а в коллежской - 22672; в 1723 году в первой - 85854, а во второй - 47734; в 1724 году в первой - 141342, во второй - 108054. Наумову велено было под рукою проведать о коллежских членах, и услышал он о великих обидах от них народу.

Сильные жалобы поданы были Наумову также на войсковых командиров из немцев, находившихся в Малороссии; к жалобам малороссиян присоединялись жалобы полковников из великороссиян. Полтавский полковник писал на генерала Вейсбаха, что постоянно требует для разных домовых посылок подвод, сторожей, водовозов, ремесленников, баб для кухни, по обывательским лугам косит сено даровыми работниками и возит его на полковых подводах, рыбаков берет перемененно по четыре человека с сотни, две слободы поселил себе на обывательских землях людьми Полтавского полка и уволил эти слободы от квартирной и порционной

обязанности. На генерал-поручика Роппа и генерал-майора Дукласа нежинский полковник Хрущев с старшиною показали, что Ропп занял себе квартиру не по указу и без отводу, требует неуказных всяких съестных и других припасов ежедневно; находящийся при нем прапорщик Михнев бил комиссара смертным боем и окровавил, а полковника Хрущева Ропп держал под караулом, отобрав шпагу, а старшину полковую грозил бить киями; племянник его, прапорщик Виттин, пришедши в прилуцкую ратушу, требовал у войта подвод без прогонов, войт не дал и за то был прибит плетью; обозному того же полка Виттин проломил голову. Дуклас отяготил народ в Переяславском полку требованиями леса на постройки. Наумов написал Вейсбаху, чтоб исследовал о поступках Роппа и Дукласа: полковникам послан указ, чтоб лишнего никому ничего не давали, а кто будет насильно брать, о том писали бы к нему и присылали обстоятельные ведомости. Наумов оканчивает свои донесения так: "А чтоб в том справедливость была учинена, о том познать не по чему, понеже и на самого его, генерала Вейсбаха, обиды показываются более других".

В наказе Наумову говорилось: выбрать кандидатов в генеральную старшину, а именно: в обозные, генеральные судьи, генеральные писаря, есаулы, бунчуковые, хорунжие и прочие чины, которые при гетманах обыкновенно бывали, а выбирать в те кандидаты гетману по совету с Наумовым во всякий чин человека по два и по три, и Наумову притом смотреть и предостерегать, чтоб кандидаты были люди добрые и ни в чем не подозрительные, особенно такие, которые были верны во время измены Мазепиной; имена избранных прислать в Коллегию иностранных дел, а до получения указа быть при гетмане в тех чинах наказным (исправляющим должность), потому что без старшины гетману быть нельзя. Наумов писал, что в обозные лучше всего назначить полковника Галагана, ибо хотя он и писать не умеет, однако отличался всегда верностию императорскому величеству; к судейской должности способны Троцына и Стороженко; к писарской - Турковский, хотя и говорят, что он не из знатных; в есаулы достойны Гамалея и Лисенко, люди добрые и смирные; в хорунжие - Борозна; в бунчужные - Василий Савич.

Относительно суда и расправы было постановлено: быть по прежнему их обыкновению суду в городах на ратушах у сотников; отсюда дела переносятся в полковой суд, на который апелляция в Глухов к генеральному войсковому суду; но так как на этот суд были жалобы от малороссийского народа и теперь приходят, что в нем делаются большие неправды из-за взяток, вследствие чего бедные козаки и посполство бывают обвинены, полковая старшина, на которую подаются челобитья от козаков и простых людей, случается в свойстве и дружбе с генеральными судьями и потому не может быть без похлебства, то император указал в этом генеральном суде заседать из русских троим. Если кто генеральным судом не будет доволен, тот может подавать челобитную гетману, который рассматривает и вершит дела вместе с Наумовым.

Относительно податей Наумов должен был объявить малороссийскому народу, что новые сборы, положенные при существовании коллегии, уничтожаются.

Так как прежние полковники назначали сами сотников и других урядников без объявления гетману по своим личным отношениям и за взятки, то теперь велено было полковнику собирать раду из полковой старшины и сотников и на этой раде по общему приговору назначать двоих или троих кандидатов и присылать их к гетману и Наумову, которые из них выбирают, по их мнению, достойнейшего.

Но и Наумов должен был столкнуться с гетманом, и прежде всего относительно судебного порядка. Мы видели, как определен был этот порядок, как постановлена была апелляция от суда городского к генеральному и от генерального к гетману. Несмотря на то, продолжалось прежнее обыкновение подавать челобитные на имя гетманское, и гетман по старине, приняв челобитную, отдавал ее в генеральную канцелярию генеральному писарю, который прикажет на обороте челобитной выписать кратко, кто и о чем просит, на кого жалуется, и к ответчику посылается от гетмана универсал, или позывный лист, с приказанием, чтоб он или помирился с истцом, или явился бы на срок к гетману, и когда явится, то гетман посылает обоих в генеральный суд. "Это напоминание от гетмана прежде суда не худо, - писал Наумов, - но бывает у них и то, что гетман посылает мимо генерального суда сыщиков, которые привозят свои сыски в генеральную канцелярию, и гетман по этим сыскам судит сам мимо генерального суда". "Тут не без сомнения, да и порядку нет, - продолжает Наумов, - и другие подобные резолюции бывают из генеральной канцелярии. Я этому противлюсь, но гетман отвечает мне, что в том состоит их прежний суд, а в императорской грамоте написано, что суду и расправе быть по прежнему их обыкновению" Потом гетман, получив челобитье, не сообщая о нем генеральному суду, поручал суд известным лицам; Наумов указал не сколько таких случаев, которые продолжались, несмотря на представления его гетману. Когда случалось некоторые дела слушать Наумову вместе с гетманом и с общего согласия полагать решения по обыкновению с императорским титулом, то гетман не скреплял этих приговоров, отговариваясь, что прежде у них при говоры на письме не делались и не закреплялись. Наконец, гетман, отправляясь в Москву, посылал в генеральный суд универсалы, чтоб до счастливого его возвращения на резиденцию приговоров по известным делам не приводили в исполнение.

Мы видели, что все новые сборы, положенные при существовании Малороссийской коллегии, были уничтожены. Но Наумов должен был привести в известность и порядок финансовое положение страны. Поэтому до избрания гетманского и после него много раз принимался он говорить с старшиною и духовенством, каким образом собирать подати с малороссийского народа, и спрашивал у них, были ли прежде какие-нибудь

сборы с Малороссии в казну государеву. Все единогласно отвечали, что не были. Наумов показывал им пункты Богдана Хмельницкого; на это был ответ, хотя и не единогласный, что говорено было посланцами Хмельницкого, а в грамоте его об этом не было прошено, и хотя посланцы и говорили о сборе в царскую казну, но на деле ничего не сделано. Брюховецкий, будучи в Москве, согласился на сбор доходов в царскую казну, но по возвращении изменил, и дело осталось без исполнения. Наумов уговаривал старшину и духовенство, чтоб Малороссия платила в императорскую казну ежегодно известную сумму денег, но не мог уговорить. Из доходов, объявленных Малороссийскою коллегиею на бумаге, налицо не оказалось до 100000 рублей.

В 1728 году гетман, приехав в Москву на коронацию, бил челом, чтоб возвращены были Малороссии ее старые права по пунктам Богдана Хмельницкого, чтоб никто из великороссиян не вступался в суды войсковые. На это в Верховном тайном совете был написан ответ, что малороссияне будут судиться своими в сотенных и полковых судах; но если кто будет недоволен решением последних, то имеет право переносить дело в генеральный суд, состоящий из трех великороссиян и трех малороссиян; гетман получает значение президента этого суда, и мимо нижних судов прямо в генеральный суд челобитен подавать нельзя; если же кто не будет доволен и решением генерального суда, тот может бить челом императору в Коллегию иностранных дел. На просьбу об избрании урядников вольными голосами из "родимцов малороссийских" был ответ, что генеральную старшину и полковников выбирать вольными голосами несколько кандидатов и требовать императорского указа, которым один из кандидатов и определяется; кандидаты же в полковую старшину и сотники выбираются вольными голосами, и один из них утверждается гетманом, который обязан писать об этом императору с объяснением причин утверждения. Относительно сбора доходов было постановлено, что для предупреждения гетманского произвола при сборе и расходовании учредить подскарбиев, одного из великороссиян, а другого из малороссиян. Отменен был указ, изданный при Меншикове, чтоб великороссиянам не покупать имений в Малороссии; сказано: "Продажа во всей Российской империи маетностей и прочего недвижимого должна быть свободна, и потому как великороссиянам (кроме иноземцев) в Малороссии, так и малороссиянам в великороссийских городах всякие недвижимые имения покупать и продавать невозбранно, причем определяется всем великороссиянам, владеющим землями в Малороссии, с тех земель службы, подати и повинности отправлять и все нести с прочими малороссиянами, равно и быть под судом малороссийским; только великороссийским вотчинникам запрещается в малороссийские деревни свои переводить крестьян из деревень великороссийских". О раскольниках, поселившихся в Стародубском и Черниговском полках, определено: "Выслать их по важным резонам невозможно; а ведать их тому, кто при гетмане будет: он должен послать доброго офицера и освидетельствовать, а если их сверх прежней переписи прибавилось, то и окладу на них

прибавить, и собираемые деньги присылать в Коллегию иностранных дел; если раскольники обидят кого-нибудь из малороссиян, то судить их и по сыску указ чинить гетману вместе с тем, кто будет при нем от императорского величества. А что они других в свою ересь обращают, за то грозить им смертною казнию и велеть по возможности их самих от ереси отводить, как в Великой России делается, и некоторые обращаются". Таким образом, гетман не получил желаемого; но всего более неприятно ему было то, что он был подчинен главнокомандующему Украинскою армиею фельдмаршалу Голицыну.

Весть о восстановлении малороссийской старины, об избрании гетмана скоро достигла запорожцев и подала им надежду, что русское правительство согласится снова принять их в подданство. Кто-то распустил у них слух, что гетманом назначен Сапега, и они прислали к нему письмо с шляхтичем Хмелевским, в котором выражали желание удалиться от Агарянской страны и, поклонившись его императорскому величеству, под его властью по-прежнему жить. Кошевым атаманом подписался Павел Феодорович. Наумову и гетману велено было так отвечать Хмелевскому словесно: "Мы не безнаджны, что милосердый монарх склонится на желание запорожцев, вины их простит и при удобном случае в державу свою по-прежнему принять укажет, как и Малую Россию в прежнее состояние восстановил и гетману быть повелел; но для этого запорожцам нужно показать непоколебимую верность, в знак которой должны сноситься со мною и с гетманом, уведомляя нас о тамошних происшествиях". Но в Запорожье желали более решительных действий со стороны России; отсюда писали к гетману: "Хотим поклониться его царскому пресветлому престолу и вашу вельможность просим: умилосердись, как щедролубивый отец, не попусти нас погибать, чтоб мы не подпали врагам-татарам на расхищение. Доброувещательных писем ваших не можем слышать, потому что начальствующие, находясь под игом татарским, боятся войску объявлять; а когда умилосердится ваша вельможность и подаст нам свою помощь войсковую, тогда все будет явно и ясно. Мы обещаемся монаршему маестату и вашей вельможности верно служить до конца нашей жизни, и все Войско Запорожское Низовое на Старую Сечу собирается, от Крымской стороны совсем отступает, потому что хан несколько сот нашей братьи на свою службу заслал за море и атамана кошевого со всею старшиной захватил под свою державу".

5 июня 1728 года Верховный тайный совет, слушав доношение фельдмаршала князя Голицына, гетмана Апостола и тайного советника Наумова и письма запорожцев, в которых они объявляют свое намерение - забрав из Новой Сечи войсковые клей ноты, перейти в Старую Сечь и объявить, что они находятся под покровительством его императорского величества, - рассудил, во-первых, присланных к гетману из Запорожья четырех козаков отправить назад с таким же словесным приказом, как и в прошлом году, прибавя, что если они в нынешнее время учинят какие противности турецкой стороне, то они в русские границы никак впущены

не будут. Во-вторых, послать указы к фельдмаршалу и гетману, чтоб они повсюду подтвердили - запорожцев, если они придут многолюдством и с ружьем, отнюдь не принимать и от границ отбивать оружием, а под рукою словесно обнадеживать их, что при удобном времени они будут приняты; это объявлять им при случае тайно чрез важных людей, а от других содержать в наивысшем секрете; полагается на рассуждение фельдмаршала, к какому из запорожцев и подарки посылать, чтоб содержать склонными к стороне его императорского величества. В-третьих, в Царьград к резиденту Неплюеву писать, чтоб он принес Порте на запорожцев жалобу, что, по слуху, они из всех мест, где поселены по трактатам, хотят приближаться к русским границам, переходить в Старую Сечь и другие места, где по договорам строению быть не следует; так чтоб Порта не допускала их до этого, ибо от этих беспокойных и непостоянных людей и без того купечеству русскому происходят обиды. Понемногу и без оружия запорожцев велено было принимать и прежде и теперь, и полтавский полковник доносил, что по первое июня 1728 года пришло запорожцев на житье в Малороссию 201 человек, а в последних числах приходят ватагами человек по десяти и пригоняют с собою стада, более желают жить по Самаре и ниже ее. Голицыну писали из Москвы, что этого много и нельзя защищать тех запорожцев, которые поселятся по Самаре, потому что по договору эта река в стороне турецкой. Но в то время, когда в Москве делались распоряжения о непринятии запорожцев, они поднялись и перешли на Старую Сечь, прислав на имя императора такую грамоту от 30 мая: "Склонивши сердце своих порушенные мысли ко благому обращению и повергши мизерные главы свои до стопы ног вашего императорского величества, отлагаемся от бусурманской державы. Осмотрелись мы, что вере святой православной, церкви восточной и вашему императорскому величеству достойно и праведно надлежит нам служить, а не под бусурманом магометанским погибать. Отвори сердца своего источник к нам, своим чадам, разреши ласково преступления нашего грех и нареки нас по-прежнему сынами жребия своего императорского. Еще же просим: подайте нам войсковое от руки своей подкрепление, дабы не попали мы в расхищение неверным варварам, ибо не знаем, зачем орды от всех своих краев подвинулись: для того ли, что мы уже от них отступили со всеми своими клейнотами 24 мая и пребываем уже в Старой Сечи, или они это делают по своим замешательствам?"

Но вслед за тем к генералу Вейсбаху явился кошевой атаман Иван Петров Гусак и рассказывал: "В Новой Сечи от крымского хана было нам много притеснений: в прошлом, 1727 году в декабре месяце Калга-салтан, стоя по реке Бугу, забрал на промыслах козаков с две тысячи, повел их в Белогородчину и там показал хану некоторые противности; пришел в Белогородчину сам хан, Калгу схватил и сослал в Царьград, а запорожцев, бывших при нем, разослал на каторги, а других распродали, будто бы за то, что они с Калгою бунтовали, а Калга прежде говорил, что берет их по приказу ханскому. Видя такое насилие, мы и стали советоваться, что лучше быть по-прежнему под державою его императорского величества в своей

православной вере, нежели у бусурмана терпеть неволю и разорение. Когда мы забирали клейноты и хоругвь, чтоб идти в Старую Сечь, то старый кошевой, изменник Костя Гордеенко да Карп Сидоренко и другие стали нам говорить: "Для чего же нам из Новой в Старую Сечь идти? Нам и тут жить хорошо!" Однако они нас не могли удержать, да и не могли много говорить, боясь, чтоб их войском не убили. И чтоб от них больше возмущения не было, то мы взяли Костю Гордеенка и Карпа Сидоренка под караул и везли их под караулом до самой Старой Сечи и, приехав туда, отколотили их палками и отпустили на свободу. После этого мы послали в Глухов к гетману; но посланные возвратились ни с чем, объявив, что гетмана в Глухове нет, он в Москве; тогда войско стало волноваться, начали говорить: "Если мы от императорского величества милости не получим, то кошевого и старшину, которые перевели нас сюда, побьем до смерти; испугавшись этого, я ушел".

В марте 1729 года князь Михаил Михайлович Голицын писал императору, что, по вестям, турки хотят объявить войну России и потому надобно принять запорожцев. Ему отвечали из Верховного тайного совета, чтоб он в обнадеживании запорожцев насчет принятия их при способном и удобном случае поступал по своему мнению и по прежним указам, потому что теперь еще нет удобного времени, пока не обнаружится явная противность с турецкой стороны.

В 1727 году при восстановлении гетманства подвергся опале лубенский полковник Андрей Маркович; явились жалобы на его злоупотребления, но главную причину опалы, как видно, было близкое родство с Скоропадскими и Полуботками и вражда гетмана Апостола. Сын Андрея Марковича, Яков, отправился в Москву хлопотать за отца и вместе за тетку, вдову бывшего гетмана Скоропадского, которую теснил новый гетман. Этот Яков оставил по себе любопытные записки, которые переносят нас в тогдашнюю Москву, старую столицу новой, преобразованной России, и обрисовывают нам отношения малороссиян к императорскому правительству. С начала эпохи преобразования малороссиянин, ехавший в Москву или Петербург, был уверен, что найдет там покровителей в земляках своих как между знатным черным, так и между белым духовенством. Так и наш Яков Маркович, приехав в Москву, прямо остановился у духовника государева отца Тимофея Васильевича. Маркович приехал в Москву в январе 1728 года, когда еще все думали, что царица-бабка будет иметь сильное влияние на дела; и вот он отправляется в Новодевичий монастырь, куда ведет его тамошний священник Василий и приводит к игуменье из малороссиянок Олимпиаде Коховской, к которой он привез письмо от тетки Скоропадской; был у царицы, которая потчевала его из своих рук водкой. Когда он пировал после того у священника Василия, туда же приехал карла царицы, и Маркович счел за нужное побрататься с ним и в знак любви подарил пять червонных. Понятно, что Маркович не мог обойти представителя малороссийских духовных Феофана Прокоповича. Он был у него несколько раз и записал, о чем шла

беседа: "Вечеру был у архиерея новгородского, где и архимандрит Крулик был, и тут происходил разговор о сентенции картезианов, всякое чувство от животных всех отнимающих, а только единому человеку, имущему ум, причитающих, будто чувство без ума не может быть; и потому называют они животных автоматами. В разговоре же было то, что оное мнение Картезия есть не крепкое, ибо явственно спорит против повседневных экспериментов, по которым видимы диковинные животных поступки, которым без чувствий и без памятования (якое Картезий чувством называет) невозможно быть. Также о существе духа рассуждение было, что не в самом помышлении оного духа существо содержится, но есть особливейшее нечто, чего мы не видим, но должны признать. Из такого рассуждения можно некоторый вид дебелого и весьма скудного помышления животным причесть, однако оного бессмертным назвать невозможно, а какое оно есть, неизвестно, для того что не только духа, но и тела существ (сущности) не знаем и от незнаемой вещи знаемую утверждать невозможно, разве вопреки". Но не всегда у Феофана Прокоповича были такие философские разговоры. В другой раз Маркович записал: "Ездил до архиерея новгородского, который в разговоре объявлял мне способ садить регулярно малину, ежевику и другие ягоды; он же сказывал и способ делать простые барометры". Наконец, записано: "Ездил до архиерея новгородского, который в разговоре сказывал: чтоб пиво было вскоре светло, должно песку крупного, придавши к оному мало сахару, разжарить и всыпать в бочку то за неделю, а много за две, будет светло".

Монастырями и архиерейскими подворьями малороссийскому челобитчику, разумеется, ограничиться было нельзя, и потому Маркович немедленно отправился к секретарю Иностранной коллегии Курбатову и отдал ему письмо от отца и тетки Скоропадской вместе с 30 червонными; потом опять был у секретаря, поиграл с ним в карты (шнип-шнап) и на другой уже день отправился к канцлеру графу Головкину с просительным письмом от отца и Скоропадской, и чрез день Курбатов дал ему письмо Головкина к Наумову, чтоб не притеснять старика Марковича. Молодой Маркович счел нужным побывать и у других вельмож; но важнее всего было побывать у производителя дел Верховного тайного совета Степанова, а к производителям дел и секретарям с пустыми руками ездить было нельзя, и Маркович к письмам отца и Скоропадской присоединил 40 червонных. При таких средствах дело пошло на лад, и старика Марковича велено сделать генеральным подскарбием.

Между тем молодой Маркович, человек любознательный, покупал в Москве книги: купил шесть польских книг за семь рублей с гривною: *Speculum Saxonicum*, Конституции коронныя, Статут, Твардовский, о Турецком государстве и Политику Аристотелеву, да, сверх того, книжку о небоземных глобусах за полтину; купил русскую книжку Синописис за полтину, книжку о князьях - за полтину; для церкви годовую Минею - за 23 рубля, два календаря - за полтину; возвратясь в Малороссию, он

пересчитал свои книги и нашел, что их было 340. У иноземца Морица он купил в Москве барометр, заплатил рубль.

Но не одними книгами и барометрами запасался малороссиянин в столице, покупал и рыбу: за осетра, две лосося и 10 стерлядей заплатил 3 рубля, за фунт икры - 5 копеек, за фунт чаю - пять рублей с полтиной, за фунт кофе - 20 алтын, за фунт сахара канарского-полкопы, за 20 свечек благовонных-16 копеек. Купил камлоту на кунтуш, заплатил по 20 алтын за аршин; мех беличий купил за 2 рубля 20 алтын; 18 пар соболей - за 140 рублей; в тележном ряду купил английскую коляску за 22 рубля, карету - за 38 рублей. Квартира в Китай-городе, у Москворецких ворот, три избы с кладовою и погребом, стоила ему три рубля в месяц.

Маркович воспользовался своею поездкою в Москву, чтоб подлечиться у знаменитого доктора Быдла (Бидлоо); доктор прописал ему рецепт на декокт, а на другой день прислал лекаря, который поставил ему пиявки и получил за это четыре талера.

Из дел внешних по-прежнему более всего тяготила томительная война персидская. Сначала боялись турецких успехов, а потом стали беспокоиться, что турки, потерпев неудачу, поспешат помириться с Эшрефом, который будет иметь возможность обратиться со всеми силами против России. 17 ноября 1727 года в Верховном тайном совете предложено было императору о персидских делах, что Эшреф победил турок, которые теперь ищут мира, хотя с уступкою всего, а это может быть вредно для России; представляли, что солдатам русским от воздуха в тамошних местах немалая убыль. Государь, наслышавшись этих толков и жалоб прежде, рассуждал, что нам от Гиляни никакой прибыли нет, а только убыток в людях и казне. Представляли о неприязненных намерениях калмыков, вступивших в связь с возмущившимися башкирцами, что между калмыками находится турецкий подданный Бахты-Гирей-дели-салтан, которого до сих пор нельзя было ни приманить, ни поймать, что для этого и теперь Верховный тайный совет посылает указы с нарочными к калмыкам и донским козакам. Государь изволил сказать, что козаки скоро поймать его могут.

Мы видели, что человек, посланный при Екатерине для восстановления единства и силы движения русских войск в прикаспийских областях, князь Василий Владимирович Долгорукий, оказался, по соображениям своих родственников, нужнее в Москве. При отъезде он получил рескрипт, что хотя в прикаспийских областях опасность очевидная, однако нельзя послать туда сильной помощи по европейским обстоятельствам, которые заставляют держать в готовности армию на западе; что в Персию из Казани и Воронежа назначены два регулярных полка с донскими козаками, но двигаются еще шесть полков к Казани, чтоб в случае нужды явиться на помощь Персидскому корпусу.

Долгорукий сдал начальство генералам Левашову и Румянцеву, сдал и обязанность заключить мир с Эшрефом, хотя бы с уступкою всех завоеванных у Персии провинций, выговорив одно условие, чтоб персияне не допускали турок на берега Каспийского моря. В 1729 году русских войск в прикаспийских областях было 17 пехотных полков и семь конных. Положено было увеличивать только нерегулярные полки, для чего написали Румянцеву, чтоб он, сколько возможно, велел князю Бековичу-Черкасскому набирать из грузин, армян и горских черкесов таких, которые бы к войне были обычны и во всем исправны, обещая каждому жалованья по 15 рублей в год или и больше. Положено было также убедить донских атаманов Краснощеченка, Ивана Матвеева и Данилу Ефремова, чтоб они подговорили добровольно две или три тысячи донских козаков и с ними поселились около крепости св. Креста и около реки Аграхани, за что назначить Краснощеченку жалованья по 1000 рублей и обнадежить, что он будет над этими козаками войсковым атаманом. Турки действительно заключили мир с Эшрефом. Неплюев начал свои донесения новому императору сообщением слов рейс-эффенди, что если в нынешнюю кампанию турки будут оставлены Россиею без помощи, то в счастии и несчастии отрекутся от исполнения договора и не будут признавать за Россиею персидских областей, выговоренных в трактате. Резидент представлял своему визирю, что вина на стороне турок: тавризский паша нарушает трактат, вступаясь в принадлежащие России места; Дауд-бек шемаханский также поступает неприятельски; комиссия разграничения не окончена по турецкой же вине; русские войска могут тогда только действовать против общего неприятеля, когда будут покойны со стороны границ. Визирь возражал: "Хотя бы все это и правда была, но странно, что вы, будучи здесь резидентом, не можете нам означить, сколько русских войск в Персии, отговариваетесь, что число их вам неизвестно: ясно, что там войск очень мало, поэтому о числе их и не объявляете. Пограничные ширванские дела вовсе не имеют важности: надобно прежде с общим неприятелем управиться, а другие дела решить всегда время будет, и если б русское войско двинулось в Персию, то на пути могло бы все места взять в свое владение; если же придавать важность пограничным ссорам, то и Порта имеет право жаловаться, что Россия подданным своим калмыкам позволяет соединяться с турецкими изменниками и грузинского хана Вахтанга отправила в Персию будто для ведения переговоров с Тахмасибом, а Вахтанг между тем бунтует турецких подданных". Резидент на это сказал: "Россия от принятия общих мер по трактату не отрекается, только бы Порта отстранила зависящие от нее затруднения, именно окончила бы ширванское разграничение по договору и велела Дауд-беку и пашам своим сохранять договор". Визирь отвечал: "Как бы ни было, мы, с своей стороны, отстраним все затруднения, пошлем крепкие указы, чтоб паша и Дауд-бек в русские владения не вступали и комиссары произвели разграничение немедленно; за это Россия должна сдержать калмыков, вызвать из Персии отправленного ею туда грузинского царя Вахтанга и велеть своим генералам, чтоб они по возможности действовали против

общего врага Эшрефа; Порта ничего от Персии не желает, кроме своей доли; Порта не требует большего числа войск русских, но пусть ваши генералы по возможности сделают диверсию: вступят с разорением в землю общего неприятеля, пусть подойдут к Казбину, если к Испагани идти не в состоянии; главное дело - изгнать общего неприятеля, после чего Порта на все будет готова - разделить ли Персию или поставить там независимого государя. России надобно рассудить: если Порта одна победит, то она от всех обязательств признает себя свободною: а если, паче чаяния, Эшреф победит, то он будет враждовать одинаково к России и к Турции, сколько мочи его станет". "Извините меня за откровенность, - сказал на это резидент, - я не понимаю, почему Порта в марте месяце не приняла этого решения и упустила благоприятное время, потому что тогда мои предложения были точно такие же, какие теперь вы сами мне сделали; теперь бы ширванское разграничение было уже окончено, все затруднения отстранены и нашим генералам ничего больше бы не оставалось, как действовать против общего неприятеля". Визирь смолчал на это и велел подавать шербет.

Скоро после этого Неплюев стал доносить о возможности мира между Турциею и Эшрефом; писал, что не только султану и министерству, но и всему турецкому народу персидская война омерзела, кажется несносною. Эшреф прислал к турецкому муфтию и ко всем муллам письмо, в котором говорил, что султан поступает противозаконно, отторгнув персидские провинции и не признавая его, Эшрефа, законным государем персидским, тогда как он завоевал Персию у еретиков; Эшреф писал, что муллы отдадут ответ пред богом за междоусобное кровопролитие между мусульманами; а он стоит в ополчении, готовый к миру и войне. надеясь на правду свою. По выслушании этого письма все муллы единогласно сказали: "Изо всего видно, что помощь божия с Эшрефом, а не с нами; следовательно, против воли вышнего отваживаться нельзя, но лучше заблаговременно мира искать". На это визирь сказал, что Эшреф запрашивает взятых турками областей и без того не мирится. Муллы отвечали, что прежде неверным полякам отдали Каменец, тем легче теперь можно сделать уступку единоверному Эшрефу. Визирь остался очень доволен этим ответом, ибо видел невозможность продолжать войну по беспорядочности и несклонности народа, предвидя и для себя близкую гибель, если приключится новое несчастье, тем более что требовали отправления его самого в Персию. Решили приступить к мирным переговорам, которые были поручены вавилонскому (багдадскому) паше Ахмету, и 19 октября 1727 года получено было в Константинополе известие, что мирный договор с Эшрефом заключен. Рейс-эффенди, объявляя об этом Неплюеву, прибавил, что если и Россия пожелает помириться с Эшрефом, то Порта не отрекается употребить к тому свои старания. Русский двор изъявил на это согласие.

Но это согласие не могло повести ни к чему. Весь 1728 год прошел в спорах Неплюева с турецкими министрами насчет пограничных

столкновений. Турки жаловались, что калмыки, соединясь с их бунтовщиком Бахты-Гиреем, опустошали их владения; Неплюев жаловался, что турецкие паши в новых границах вступаются в принадлежащие России земли и народы. Неплюев писал своему двору: "Не думаю, чтоб турки легкомысленно провинции вашего величества действительно обеспокоить дерзнули, и войны с Россиею они удаляются по многим причинам: 1) знают неискусство своих войск; 2) настоящее министерство ищет себе покоя; 3) если б они и получили что-нибудь от России со стороны Персии, то России от этого вреда не будет, а им может быть большой вред от войны с европейской стороны, где у них никаких приготовлений нет, а здесь они один Азов не променяют на все персидские провинции. Однако за такой варварский непостоянный двор ручаться нельзя: может случиться перемена министерству или другой какой случай, а в таких случаях у них принимаются скорые и слепые меры. Теперь они, сколько возможно, желают держать персидские владения вашего величества в беспокойстве". В 1729 году Неплюев писал: "Все пограничные паши, также и Суркай, пишут к Порте, что если она не вытеснит русских из Персии, то никогда не сможет обезопасить там своих владений, потому что русские генералы возмущают тамошние народы против турок и в нужном случае оказывают им покровительство; вытеснить же русских из Персии можно, потому что их там немного". Вести об этих письмах передал Неплюеву переводчик Порты, который прибавил, что не знает ничего о решениях Порты по этому делу, но замечает в ней холодность к России. Вслед за тем Неплюев донес: "Из всего видно, что турки намерены в будущую осень напасть на персидские наши провинции, считая это время самым благоприятным, ибо в октябре и ноябре в европейском климате зима, препятствующая воинским действиям. Я здесь почти не имею никакого значения, потому что турки моих предложений не слушают, о делах мне не сообщают, посылать курьера запрещают. Неприятели визиря внушили султану, что русских давно можно было бы выгнать из Персии, но время упущено вследствие неспособности визиря к войне; он заключил с Россиею договор, предосудительный Порте, уступил России многие персидские провинции с единоверными туркам народами, которых султан должен был по единоверию защищать, а не отдавать в подданство неверным. Султан с гневом выговаривал за это визирю, почему тот принужден на все отваживаться. Мир может сохраниться в двух случаях: если турки увидят, что Россия готова к войне и что находится в союзе с цесарским двором; азиатским войскам уже велено двигаться в персидские области". Потом другое известие: "Хотя не все утихло, но и не возрастает; только пограничные паши ложными своими известиями не перестают плевать сеять". Цесарский резидент Дальман предъявил полномочие быть посредником в спорах между Россиею и Турциею; но Неплюев опасался, чтобы турки не предложили посредничества французского посла на том основании, что последний договор у них с Россиею заключен был при посредничестве Франции.

Франции не доверяли по-прежнему. При вступлении на престол Петра II Куракин, извещая о предстоящем заключении договора между Францией, Англией, Испанией и императором, писал, что во Франции очень рады мирному окончанию дела, но что министр английский в Париже Вальполь недоволен, ему лучше бы хотелось войны, он боится, что Франция, сблизившись с Испанией и Австрией, освободится из рабства Англии. "И всю сию оперу, - писал Куракин, - при помощи божеской надеемся увидеть в свое время". Для окончательного улажения дел назначен был конгресс в Камбрэ, и Россия, как принимавшая участие в последних движениях в качестве союзницы императора, назначила на конгресс своих уполномоченных - князя Бориса Куракина и графа Александра Головкина. По наказу они должны были стараться о допущении своем прямо ко всем переговорам как представители стороны заинтересованной, чтоб дело герцога голштинского было окончено на конгрессе, чтоб при постановлении генеральной гарантии и Россия была в нее включена. Между тем умер английский король Георг I, которому наследовал сын его Георг II; эту перемену хотели воспользоваться для восстановления приятных сношений между Россией и Англией. Флери был посредником, и 27 августа Вальполь, приехав к Куракину, объявил ему, что король его ничего так не желает, как предать забвению все прошлое, восстановить дружбу и сношения с русским императором, и готов отправить от себя знатного человека поздравить Петра II с восшествием на престол, причем надеется, что и со стороны русского двора будет поступлено таким же образом.

Но князю Борису Куракину не суждено было привести к окончанию всех этих дел: 18 сентября он умер, и место его занял сын его, князь Александр, с титулом советника посольства. Но и князь Александр в 1728 году получил позволение возвратиться в Россию, потому что весь интерес сосредоточился теперь в Суассоне, где был назначен конгресс вместо Камбрэ. В Суассон отправился один граф Александр Головкин, который получил новый подробнейший наказ: по приезде в Суассон он прежде всего должен осведомиться об установленных там порядках относительно церемониала. Его императорское величество в церемониале излишнего ничего не требует, но, кроме цесаря римского, никому из коронованных глав первенства уступить не может. Наблюдать, чтоб с ним поступаемо было так, как с министрами ганноверских союзников, преимущественно с шведскими. Относительно возвращения Шлезвига герцогу голштинскому или достойного ему вознаграждения должен согласиться с цесарскими министрами и делать все то, что они делать станут; особенно должно действовать на кардинала Флери, представляя ему, что французский интерес требует улажения этого дела с полным удовлетворением герцога. Стараться, чтоб Россия непременно включена была в общую гарантию; если же представится затруднение по причине турок и персиян, то его величество будет доволен, если гарантия будет постановлена относительно одних европейских его владений. Более всего граф Головкин должен быть в согласии с цесарскими министрами, искать их доверенности и помогать

им во всех их требованиях, которые не противны русским интересам; потом должен искать доверия кардинала Флери, особенно стараться проведать о намерениях Франции относительно Швеции и Дании; внушить кардиналу Флери, что русский император вовсе не думает заставлять Швецию возвести на престол герцога голштинского, предоставляя это дело воле божией и склонности шведского народа; возбудить в кардинале подозрение относительно замыслов Англии в Швеции. С министрами английскими должен иметь политическое дружеское обхождение, объявлять им, что с русской стороны никакой причины к озлоблению не подано, у обоих государств нет причины друг другу завидовать и потому могут находиться в вечной дружбе.

Более всего Головкин должен был действовать в согласии с цесарскими министрами. Ланчинский начал свои донесения новому императору известием о радости, в какой находится венский двор, начиная с цесаря и цесаревны, что племянник последних занял русский престол, и хотя копия с завещания Екатерины и не была еще получена в Вене, но уже толковали, что оно написано во всем предусмотрительно и основательно, и только по воле божией скипетр перешел из одной руки в другую, и спокойствие Русского государства упрочено. Ланчинский именем нового императора повторял о высоком почитании его к цесарю и цесаревне и о истинном намерении не только сохранять прежнюю дружбу, но и еще более укреплять ее. Но вслед за тем Ланчинский донес своему двору, что в Вене *бесплодность* в делах еще продолжается; ограничивались уверениями, что цесарь намерен на конгрессе стараться прилежно о шлезвигском деле, и выражали уверенность, что на конгрессе ни Гибралтар за Англию, ни Шлезвиг за Данию остаться не могут. В доказательство своей тесной связи с венским двором русское правительство велело Ланчинскому объявить цесарским министрам, что со стороны Англии сделаны предложения о прекращении несогласий, но что со стороны России не дано еще никакого решительного ответа, ибо император будет ждать совета римского цесарского величества, как при настоящих конъюнктурах поступить? Принц Евгений отвечал: "И нам англичане делают предложения в разных местах, однако не видим их прямого намерения и знаем, что в то же время они делают цесарю всевозможные неприятности. С русской стороны надобно зрело рассудить, что англичане отторгнули от русского союза Швецию, деньгами и интригами приклонили ее к ганноверскому союзу и беспрестанно при шведском дворе куют против интересов русских; герцога голштинского гонят несносно и не только стараются отнять у него всякую надежду на шведский престол, но, что хуже всего, стараются приготовить путь к этому престолу для одного из своих принцев. Прошлого года с такою гордостью присылали в Балтийское море эскадру и если не сделали никакого вреда, так только потому, что нашли Россию в готовности отражать силу силою. Как же такие великие противности могут они заглаживать тем, что пришлют к русскому двору министра? Всего лучше вам удержаться от ответа на английские предложения и смотреть на обращение конъюнктур". После

этого русский двор считал себя вправе требовать, чтоб между ним и венским двором произошло полное соглашение насчет того, как их уполномоченным действовать на Суассонском конгрессе, чтоб на основании этого соглашения можно было и дать инструкцию русскому уполномоченному; Ланчинский требовал у австрийских министров, чтоб они объявили ему, как они намерены действовать на конгрессе относительно русских интересов, именно: гарантии русских владений и вознаграждения герцога голштинского. Министры отвечали уклончиво, что у них еще нет системы относительно действий на конгрессе, что все должно зависеть от хода переговоров, но что цесарь с своей стороны употребит все старания для удовлетворения желанием русского государя; к этому ответу принц Евгений прибавил, что Англия старается оттеснить Россию от европейских дел, Австрия же, наоборот, старается ввести ее в европейские дела.

Несмотря на уклончивость Австрии относительно русских требований, в начале 1729 года Ланчинский по приказанию своего двора должен был объявить цесарским министрам от имени своего государя, что, каков бы ни был исход Суассонского конгресса, русский император никогда не отступит от цесарского величества и всегда пребудет твердо и нерушимо при союзе с ним. За это принц Евгений отплатил объявлением, что если дойдет до трактата относительно шлезвигского дела, то в этом трактате будет положено доброе основание и определится срок, в который герцогу голштинскому должно быть дано удовлетворение, и что цесарь ни на что не согласится прежде, чем русский государь и герцог голштинский заявят, что довольны решением дела; Ланчинскому указывали надежду на благоприятный исход голштинского дела в том, что Франция и Англия хотя и гарантировали датскому королю обладание Шлезвигом, однако признали, что герцогу голштинскому надобно дать вознаграждение. В России желали, чтоб Суассонский конгресс кончился генеральным и формальным трактатом, а не каким-нибудь провизиональным актом, ибо для России и Австрии всего важнее порвать ганноверский союз, а этого можно достигнуть только в первом случае. На представления Ланчинского об этом принц Евгений отвечал: "Как это сделать, чтоб ганноверский союз разорвался? Как союзникам ганноверским запретить, чтоб и после формального трактата они не продолжали оставаться в прежнем союзе?" Другие министры прибавляли, что как цесарю никто не может запретить после какого бы то ни было Суассонского трактата оставаться в прежних отношениях с своими союзниками, так и ганноверским союзникам нельзя запретить оставаться при старых обязательствах. Остерман по этому случаю писал Ланчинскому, что австрийские министры не поняли, в чем дело: если в Суассоне будет заключен формальный трактат, прекращающий все столкновения, то Франция необходимо выйдет из ганноверского союза, ибо кому не известно, да и сами французские министры, не таясь, нашему послу не раз говорили, что настоящие их обязательства собственным и естественным французским интересам противны и что они ищут одного - как бы с честью выйти из этих

обязательств и снова получить свободные руки поступать по натуральным своим интересам.

Россия могла еще сквозь пальцы смотреть на уклончивость и неопределенность ответов австрийского кабинета на вопросы не первой важности для нее, ибо австрийский союз считался необходимым по отношениям турецким и польским, преимущественно первым; но австрийский кабинет обнаруживал такую же уклончивость и относительно другой союзницы своей, Испании, которая не хотела смотреть на это сквозь пальцы, потому что испанский двор, повинувшись желаниям королевы Елисаветы, настойчиво добивался испомещения испанских принцев в Италии; в этом заключалась главная цель союза Испании с императором. Франция и Англия воспользовались медленностию, уклончивостию Австрии в исполнении желаний Испании и предложили последней получить желаемое с их помощью. Испанский двор принял предложение, и в ноябре 1729 года был заключен в Севилле договор между Испаниею, с одной стороны, Франциею, Англиею и Голландиею - с другой. Австрия осталась одна с Россиею. Этот севилльский договор изменил отношения иностранных министров при русском дворе; испанский посланник герцог Лириа, который прежде действовал заодно с австрийским посланником графом Вратиславом, теперь стал действовать наперекор ему, хлопотать, чтоб Россия не исполняла обязательств своего договора с Австриею), не посылала своего войска на помощь цесарю. Кроме дел западноевропейских предметом сношений между обоими дворами были дела польские, ибо в Москву и Вену приходили известия о стараниях Швеции и Франции посадить по смерти Августа II на польский престол Станислава Лещинского. На представления Ланчинского по этому поводу граф Цинцендорф отвечал, что венский двор думает согласно с русским, что Польшу надобно удерживать при нынешнем ее состоянии без всякой перемены: Станислава Лещинского от польского престола отстранить непременно, а потом, смотря по ходу дел, возвести на престол или наследного принца саксонского, или Пяста; получено также известие, что некоторые польские вельможи склонны к брату португальского короля инфанту дону Эмануэлю, но что, впрочем, о польских делах нужно сноситься и с королем прусским.

В Польше на первом плане продолжало стоять курляндское дело. Ягужинский был отозван из Варшавы еще при Екатерине, оставив там одного Бестужева, который в первом донесении своем новому императору писал: "По получении известия о кончине ее величества поляки сильно загордились и начали явно говорить, что Курляндию делить на воеводства; они льстили себя надеждою, что в России при нынешнем случае произойдет смута, которою они воспользуются: чего желают, тем себя и льстят. Я всякими мерами опровергаю эти их рассуждения и, получая академические печатные ведомости, давал им читать, чтоб они могли видеть, что за помощью всемогущего в России все тихо и благополучно". В июне 1727 года Бестужев извещал, что Мориц отправился в Курляндию и,

будучи в Дрездене, говорил польским министрам, что из уважения к королю и для общего блага готов отказаться от притязаний на титул герцога курляндского и ограничиться штатгалтерством; если же и этого нельзя, то может согласиться на такую сделку: когда назначенная комиссия прибудет в Курляндию, то пусть его обнадежат, что будут избирательные воеводы, причем он надеется быть избранным, а он за это обещает склонить курляндцев к принятию предложений комиссии, потому что пользуется между ними большою любовью и доверием.

В России не хотели допустить ни одной из этих сделок, и, чтоб отнять у поляков повод распоряжаться в Курляндии, генерал Леси, перейдя с войском Двину, выгнал Морица из этой страны (в августе 1727 г.). Но Мориц и тут не хотел успокоиться относительно России; в ноябре того же года присланный от него советник Бакон подал в Верховный тайный совет следующие предложения: так как Мориц один только может удержать поляков от присоединения Курляндии к Польше, то, если Россия признает его герцогом курляндским, он обяжется быть русским данником, будет платить ежегодно по 40000 рублей до того времени, пока Курляндия формально примет покровительство России и сделается леном ее, причем он, Мориц, дает честное слово держать столько войска, сколько ему предпишет Россия. В начале 1728 года Бакону было объявлено, что предложение его не может быть принято и чтоб он немедленно выехал из России. Но в то же самое время саксонский посланник Лефорт доносил своему двору, что Миних поднял вопрос о браке Морица на цесаревне Елисавете, и отправление Бакон Лефорт объяснял так: "Все разговоры с Баконем и поспешность, с какою его отправили, имеют один сокровенный смысл: ступайте и привозите его к нам". Год с лишком Лефорт манил Морица этим браком и только в марте 1729 года написал, что нет более надежды. Но еще прежде предложения Морицева изумило предложение старого герцога Фердинанда, который объявил, что желает вступить в брак с цесаревною Елисаветою или с другою русскою принцессою. В Верховном тайном совете решили: относительно цесаревны Елисаветы отказать, предложить ему царевну Анну Ивановну или, если не согласится, то сестру ее, царевну Прасковью.

Но возвратимся к Курляндии. Здесь Леси по изгнании Морица послал польским комиссарам объявление, чтоб они удержались от вступления в Курляндию. На жалобы польских министров Бестужев отвечал, что высылкою Морица император сделал угодное королю и Речи Посполитой и поступил согласно с своими интересами, ибо есть известие, что Мориц имел сношение с враждебными России державами, притом он вступил в Курляндию с немалыми людьми и военною амунициею, получив от некоторой державы значительную сумму денег; наконец он стал укрепляться на острове, поджидая к себе еще людей, и потому, предупреждая вредные следствия этих поступков, император распорядился согласно с своими интересами и согласно союзному договору с королем и Речью Посполитою; что же касается до объявления генерала Леси, чтоб

комиссары не вступали в Курляндию, то комиссия назначена была для уничтожения выборов графа Морица, а так как он всеми своими людьми выслан из Курляндии, то этим самым выбором уничтожены, и в комиссии нет более никакой нужды. В разговоре с великим канцлером коронным Шембеком Бестужев объявил, что Россия не допустит до перемены формы правления в Курляндии; а Шембек отвечал, что Речь Посполитая по смерти герцога Фердинанда никогда не допустит до избрания нового герцога, хотя бы из этого проистекли и дурные последствия.

Несмотря на объявления Леси, польские комиссары въехали в Курляндию и начали свое дело; Леси протестовал. По этому поводу Бестужев имел крупный разговор с польскими министрами в октябре. "Для чего, - кричали поляки, - генерал Леси против нашей комиссии протестует и так явно в наши домашние дела мешается? Еще мы вами не завоеваны, чтоб вы могли законы нам предписывать; мы объявим об этом не только пред всеми дворами европейскими, но и при Порте". Бестужев повторял одно, что Курляндия Польшею не завоевана, присоединилась добровольно и Россия не может допустить нарушение в ее правительственной форме; дело курляндское не домашнее, польское, а публичное; турок император не боится, и эти угрозы Портою приносят полякам более стыда, чем чести и пользы. В Курляндии образовались партии: одна, желавшая сохранить старый порядок и потому державшаяся России, хотевшей того же самого, и польская; комиссары начали притеснять членов первой и выдвигать на важные должности членов второй, отставили ландгофмейстера Бринка и должность его передали главному противнику России обер-бургграфу Костюшке, католику; канцлера Кайзерлинга посадили под арест, и на его место канцлером сделан Бракель, который орудовал Морицевым делом. В ноябре Бестужев представил польским министрам, что комиссары их в Курляндии позволяют себе жестокости и насилия, некоторые оберраты и депутаты сеймовые были содержаны под стражею, и оберраты поневоле должны были дать комиссарам запись, что по смерти герцога Фердинанда не будут избирать себе нового герцога и даже предъявлять право свое на избрание. Против таких поступков генерал Леси протестовал именем императорским, а теперь он, Бестужев, объявляет, что император никогда не допустит до изменения правительственной формы в Курляндии. Поляки отвечали: "Если бы курляндцы сами просили вашего государя о покровительстве и помощи, то была бы еще причина ему вступаться в это дело; но так как просьбы никакой нет, то удивительно, что посторонняя держава в наши домашние дела хочет мешаться; что же касается до комиссии, то она не имеет права что-либо установить в Курляндии, но должна о всем том, на чем согласится с курляндцами, донести сейму, который утвердит эти соглашения или не утвердит". В конце 1727 года Бестужев получил от своего двора приказание не предлагать ничего более польским министрам о курляндских делах, но дожидаться сейма. Но сейма не было в 1728 году по причине болезни королевской, и все дела остановились, кроме одного - о притеснениях православным от католиков. В начале 1728 года белорусский епископ князь Четвертинский прислал

императору подробное описание бедствий, которым подвергалась его епархия после отзыва комиссара Рудаковского: "Повелено было моему смиренному доносить о своих нуждах князьям Долгоруким, Василью Лукичу и Сергию Григорьевичу, бывшим тогда при польском дворе; они старательно предлагали королю и Речи Посполитой, чтоб нас оставили в покое, но ничего не последовало, только одни декларации. На сейме 1726 года генерал Ягужинский прилагал неусыпный труд, чтоб православным была отрада, и получил декларацию, что наше дело должно окончиться на конференциях. Теперь министр Бестужев также всячески старается о нас, но получает один ответ, что дело решится на сейме, а на сейме о нем ни полслова, отлагают до конференций. Прежде всего прошу, чтоб г. Бестужев исходатайствовал позволение управлять по моей смерти Белорусскою епархией назначенной от меня особе до тех пор, пока изберут другого епископа, ибо многие униаты уже теперь стараются получить привилегию и восхитить престол белорусский: чтоб выдан был королевский универсал, запрещающий обижать православных и отбирать у них церкви, пока не назначат к сейму комиссаров для рассмотрения обид: прошу о присылке в Могилев русского комиссара, потому что прежний был великою помощью для православных: прошу дать указ из св. Синода, чтоб архиепископ киевский не вступался в мою епархию, равно как и другие архиереи".

Эта просьба была последняя: 13 февраля 1728 года князь Четвертинский скончался: духовенство немедленно избрало игумена Гедеона Шишку наместником и архидиакона Каллиста Заленского администратором Белорусской епископии: но могилевский магистрат обратился к киевскому архиерею с просьбою назначить наместника и с жалобою на Заленского, что он при жизни епископа (Сильвестра) ссорился с городом и братством и теперь сильно вредит вере благочестивой, потому что в нем нет ни веры, ни благочестия, ни правды, один обман и лесть, старается всячески высвободиться из-под власти киевского архиерея: магистрат просил, чтоб духовенство не делало ничего без горожан, которым должно быть предоставлено свободное избрание достойного в епископы. Таковую же жалобу магистрат отправил и прямо в Синод, называя Заленского волком в коже овечьей, приписывая ему то, что церковь кафедральная, сделанная из досок, гниет, тогда как он на ее строение собирает большие деньги с вечных памятей: священники, угнетаемые им, обращаются в унию; а киевский архиерей доносил Синоду, что Заленский хочет похитить Могилевское епископство и отступить от православия, причем многие знатные особы из католиков и шляхты стоят за него.

Синод передал дело в Верховный тайный совет, который в мае 1728 года отправил в Могилев смоленского шляхтича Швейковского, приказав ему увидаться наедине с архидиаконом Заленским и сказать ему, что при императорском дворе он, архидиакон, известен как человек, управлявший лет 20 всеми делами епархии при прежнем епископе, и потому приехал бы он сам в Москву для донесения, какого бы человека доброго,

благочестивого и веры православной блюстителя выбрать на епископию белорусскую. Потом Швейковский должен был разведать пристойным образом, кто из членов магистрата люди постоянные и православия ревнители, и поговорить с такими тайно, чтоб архидиакон не узнал: сказать им, что прошения их приняты милостиво императором, который приказал узнать, кого они из своих духовных считают достойным епископства, чтоб русскому двору можно было помочь такому при избрании и утверждении королевском. Наконец, Швейковский должен был в Могилеве и в других местах расспросить у православных русских людей, духовных и мирских, в чем между духовными и светскими людьми, и особливо между магистратом и архидиаконом, распря и каков сам архидиакон в благочестии и духовном правлении, можно ли ему верить?

В августе воротился Швейковский из Белоруссии и донес, что магистрат между могилевскими духовными не знает ни одного достойного человека и просит прислать к ним кого-нибудь от Синода или из Киева. В то же время приехал в Москву и Заленский, привез письмо от всего духовенства, которое заявляло о достоинствах архидиакона и просило верить ему во всем. Так как могилевцы, не имея на кого указать из своих, избрание епископа предоставили Синоду, то в Москве и выбран был межигорский архимандрит Арсений Берло, и для прекращения усобицы решено было, что Заленский не возвратится более в Могилев. Но смута этим не прекратилась: новый епископ писал в Москву, что прибытие его в Могилев тамошним жителям, и особенно братству, неприятно, с братством заодно и бывший наместник Гедеон Шишка, и вскоре по приезде его, епископа Арсения, явились на него пасквили, против чего он протестовал в могилевской ратуше, объявив, что этот позор терпит он от Шишки. Арсений писал также, что ругатели веры православной грозят его убить; шляхта в селах и городах православные церкви насильно отторгает к унии. Иезуиты могилевские, имея у себя в школе двух воспитанников, сыновей знатных горожан могилевских, совратили было их в свою римскую церковь; старанием игумена Братского монастыря Сильвестра мальчиков отняли у иезуитов и снова присоединили к православию, но за это католический епископ позвал к суду игумена и русских горожан; епископ прибавлял, что все эти затруднения и бедствия делаются по интригам Каллиста Заленского, бывшего архидиакона могилевского. Канцлер граф Головкин отвечал Арсению, что напрасно он нарекает на Гедеона Шишку, человека честного и заявившего о своем расположении к нему, Арсению, что пасквили написаны врагами православия и не следовало ему жаловаться на них в ратуше, но оставить их без внимания, ибо в тамошнем вольном государстве много того бывает, поляки иногда и на своих государей пишут пасквили, но таких злодеев сыскать нельзя; о гонениях на православие должно писать к русскому посланнику в Варшаве; интриг от Каллиста Заленского никаких быть не может, потому что он сам не захотел возвращаться в Могилев и уже поставлен архимандритом в Межигорский монастырь. "Ваше преосвященство, - писал Головкин, - должны сноситься с Заленским и требовать его совета, потому что вы еще теперь не можете

узнать тамошних людей; да и с Гедеоном Шишкою извольте приятно обходиться, как с человеком, знающим все тамошние дела, и советоваться с ним".

Избранный в Москве Арсений Берло не мог в Могилеве называться епископом и назывался только номинатом до получения королевского утверждения. Об этом утверждении должен был хлопотать снова отправленный в Варшаву в качестве полномочного министра князь Сергей Григорьевич Долгорукий, хотя Михайла Бестужева и оставили там в качестве чрезвычайного посланника. В начале 1729 года Долгорукий писал: "О епископе белорусском хотя чаю быть не без трудности, дабы из киевских архимандритов позволили, однако ж всемерно стараться буду". При свидании с примасом Потоцким Долгорукий объявил ему, что он прислан для обнадежения короля и республики непременною дружбой; император не имеет никаких партикулярных интересов в королевстве Польском, имеет только один общий с Речью Посполитою интерес, именно чтоб она в своих правах и вольностях была ненарушима вовеки; посланник прибавил, что император особенно уважает его, примаса, лично и всю его фамилию. Поблагодаривши за это, примас начал говорить, что короля очень долго нет в Польше; жаловался, что Август имел свидание с прусским королем, что возбуждает подозрение, не постановили ли они чего-нибудь противного вольности польской и не было бы сделано какого насилия относительно королевского избрания. Посланник именем своего государя обнадежил, что в таком случае Россия будет помогать Речи Посполитой, равно как и Австрия. Потоцким очень не нравилось возвышение Понятовского, которого король прочил в гетманы/ Возвышение Понятовского по его отношениям к Швеции и Лещинскому не нравилось, и России, и потому Долгорукий должен был действовать сообща с Потоцкими, в чем их и обнадеживал. Брату примасову маршалку надворному Потоцкому хотелось быть гетманом, хотелось и короны, но Долгорукий писал к своему двору: "Для интересов вашего величества ни Лещинского, ни Потоцких не надобно, а, по моему рабскому рассуждению, годнее всех в гетманы кто-нибудь из князей Вишневецких".

Свидание польского и прусского королей сильно беспокоило и польских вельмож, и русского посланника. Долгорукий отправился в Дрезден и оттуда давал знать в Москву о трактате, будто бы заключенном между Саксониєю и Пруссиею, по которому Пруссия обязалась помогать возведению саксонского наследного принца на польский престол, за что получит польскую Пруссию, а прусский король обещал отдать свои швейцарские владения Морицу вместо Курляндии; если же Пруссии нельзя будет получить польской Пруссии, то король Август обязался уступить ей часть Лузании. Долгорукий не сомневался в существовании подобного трактата. "Понеже, - писал он, - нужнее прусскому двору польские Прусы, нежели кусок в Швейцарах. Двор здешний, по-видимому, никогда надежен не был на свои прогрессы, как ныне, и во всех компаниях говорят почти публично уже как бы заподлинно, что королевич королем будет в Польше".

Из Москвы успокаивали Долгорукого: "Есть ли какие секретные обязательства между королями польским и прусским насчет польского престола, о том до сего времени подлинного проведать мы не могли, и можно думать, что таких обязательств нет; по всем вероятностям, при нынешнем министерстве прусском за такую химеру, как приобретение польской Пруссии, не возьмутся, ибо никто из соседей не допустит, чтоб польская Пруссия была оторвана от Речи Посполитой, особливо цесарь никогда на это не согласится; несмотря на то, надобно вам стараться подлинно проведовать о тайных обязательствах между двумя дворами, чтоб мы могли заблаговременно свои меры взять". Но Долгорукий не успокаивался и причиною беспокойства выставлял сильный набор войска в Саксонии и небывалую прежде дружбу с Пруссией, а возвратившись в Варшаву, посланник доносил, что здесь все убеждены насчет трактата между Саксониею и Пруссией о возведении наследного принца саксонского на польский престол.

В августе месяце открылся сейм в Гродне. "Неимоверно, - писал Долгорукий, - с каким желанием король и все придворные сторонники стремятся доставить гетманскую булаву Понятовскому, не жалея ни труда, ни денег, все единодушно, кроме фамилии Потоцких, князя Сангушки и гетмана литовского Потея, которые со мною чрезвычайно сблизились; я обещаю Потоцким милость вашего величества и вспоможения для получения гетманства члену их фамилии; надеюсь, что королю ни в чем не будет успеха и сейм скоро разорвется, потому что по рабской моей должности неусыпное старание имею и на сеймиках некоторых послов избрать помог пристойными дачами". Сейм разорвался.

В Швеции после отъезда князя Василья Лукича Долгорукого остался по-прежнему в звании чрезвычайного посланника граф Николай Головин. Он начал свои донесения новому императору жалобами на холодность, какую оказывало ему шведское правительство. Какой-то благонадежный друг за великую конфиденцию сказывал Головину, что шведское министерство ищет всякого способа, как бы заставить русский двор объявить Швеции войну, чтоб можно было приписать России начало враждебного движения, и таким образом, в силу договора о приступлении к ганноверскому союзу, требовать помощи от Франции и Англии. С русским посланником обходились холодно, а присланного от султана агу осыпали ласками. Граф Горн с товарищи везде разглашал, что теперь самое благоприятное время для отобрания у России завоеваний Петра Великого. Отправили шведскому посланнику в Петербурге Цедеркрейцу приказание объявить русским министрам, что шведское правительство не будет давать их государю императорского титула, если Россия не уступит Швеции Выборга. Но Цедеркрейц отвечал, что такое предложение теперь делать неудобно, потому что правительство в России идет порядочно, никакой смуты нет и вперед ожидать нельзя, войско в хорошем состоянии и хотя относительно флота есть упущения, однако все можно исправить в непродолжительное время. Эти донесения заставили переменить тон: Горн чрез своих

сторонников начал разглашать, что так как герцог голштинский и его министры удалены из России, то этим все столкновения между русским и шведским дворами прекращаются. В сентябре Головин сообщил любопытное известие: "Здесь недоброжелательные к России люди очень жалеют об удалении князя Меншикова от двора, говорят явно, что они потеряли в своих намерениях великого патрона". В то же время Головин дал знать, что к турецкому аге приезжали министры английский и французский и говорили, чтоб он отписал своему двору о необходимости приготовляться к войне с Россией и цесарем. Война должна быть начата будущей весной, когда Швеция с помощью английского и французского флотов нападет на Россию. Ага действительно написал об этом к Порте, за что получил от английского и французского министров 2000 червонных. Горн и сенатор Дибен с своей стороны говорили аге, что если по его старанию Порты объявит войну России, то он получит от шведского правительства 10000 червонных, а в задаток подарили ему 1000 червонных и мех соболий. Надежный приятель сказал Головину, что как скоро турецкий ага выедет из Стокгольма, то король пошлет от себя к Порте в звании чрезвычайного посланника Нейгебауера, который уже был там министром при Карле XII. Головин доносил, что так называемые доброжелательные барон Цедергельм и граф Тесин просят пенсионов, выставляя на вид, что пострадали за приверженность к России; к этим двоим Головин прибавлял также графа Дикера; но в России против его донесения заметили: "Мнится, что хотя б и дать на год, на другой по нескольку, когда усмотрим, как наши дела с Швециею обойдутся". В Швеции также дожидались, как дела в России обойдутся. Головин доносил, что граф Горн и его партия бесстыдно льстят себя надеждою, что в России будет бунт и царь намерен вовсе оставить Петербург и жить в Москве.

Но в конце 1727 года ветер переменился: король принял Головина чрезвычайно милостиво, и было узвано, что с двух сторон, из Англии и из Франции, пришли внушения не ссориться с Россией до времени. Горн также начал рассыпаться в уверениях насчет своей преданности к России и объявил, что в скором времени представит доказательства этой преданности. Впрочем, Горн имел и другие побуждения переменить обращение с Головиным: он разладил с королем, а король продолжал ласкать турецкого агу, подушая его писать к Порте против России, именно что скоро будет бунт на Украине и Порты может воспользоваться этим случаем для приведения Украины под свою власть, а Швеция в это время отберет завоеванные у нее Петром Великим области.

В начале 1728 года Головин доносил, что вражда между королем и Горном день ото дня увеличивается и Горн соединяется с русским сторонником фельдмаршалом графом Дикером для поддержания шведской вольности, угрожаемой королем. На это извещение посланник получил ответ из России: "Вражду между графом Горном и королем содержать и, ежели возможно, еще умножать весьма б полезно было; но потребно будет в том со всякою осторожностью поступать". "Буду об этом стараться, - писал

Головин, - только надобно иметь некоторую сумму денег для раздачи фаворитам графа Горна, чтоб они побуждали его к большей ссоре с королем; теперь время перетянуть Горна на русскую сторону, и сделать это легко, заплативши ему 12000 ефимков, которые должен ему герцог голштинский, потому что при последнем свидании граф Горн упоминал мне об них, ставя себе в обиду, что герцог не отдает ему долга".

В ноябре 1728 года приехал в Стокгольм на побывку бывший в Петербурге посланником барон Цедеркрейц и донес королю, что сухопутное войско русское находится в добром порядке и может выступить в поход по объявлении указа в три дня; касательно галерного флота объявил, что хотя каждый год строится по несколько галер, однако теперь галерный флот перед прежним сильно уменьшается, а корабельный флот приходит в прямое разорение, потому что старые корабли, находящиеся в Кронштадте, все гнилы и на будущий год из Кронштадтской гавани больше четырех или пяти линейных кораблей вскоре вывести нельзя, а постройка новых кораблей ослабела, потому что при отъезде его только два или три линейных корабля при Петербургском адмиралтействе на штапелях были, из которых один к будущей осени может быть готов; в Адмиралтействе такое несмотрение, что флот и в три года нельзя привести в прежнее состояние, а об этом приведении в прежнее состояние и не думают. Но рассказы об упадке русского флота не могли успокоить короля, когда в то же время давали знать, что сухопутное войско в порядке, следовательно, Финляндия не может быть безопасна. Король удивил Головина своим ласковым обхождением и высказыванием желаний сблизиться с Россиею; посланник приписывал это сближению своему с графом Горном и неудовольствию шведов на англичан; но, как видно, была еще другая важнейшая причина: придворная партия интриговала, чтоб брату королевскому гессен-кассельскому принцу Георгию дан был в Швеции чин генерал-фельдцейгмейстера и таким образом проложен был путь к престолу шведскому; но так как права голштинского дома на шведский престол поддерживались Россиею, то король хотел сблизиться с русским двором в надежде, что император для дружбы со Швециею откажется от покровительства герцогу голштинскому. Головин доносил, что голштинская партия слабеет, во-первых, от того, что членам ее не выплачиваются пенсии, а во-вторых, от высокомерного обращения голштинского резидента в Стокгольме Рейхеля, которого переменить нет надежды, потому что он зять Бассевича.

Предложение о назначении гессенского принца фельдцейгмейстером не прошло в Сенате, но король все продолжал заискивать дружбу русского императора. В апреле 1729 года он отозвал Головина в свой кабинет и объявил, что желает восстановления дружбы и тесного союза между Россиею и Швециею, распространялся в похвалах Петру II, мудрости его правления и в заключение сказал, что получены верные известия о намерении императора предпринять летом путешествие в Германию и если ему угодно будет ехать чрез Кассель, то он, король, сильно желал бы там с

ним повидаться. Но восстановление дружбы и союза зависело не от одного короля, а Горн объявил Головину, что это восстановление произойдет, когда Россия поможет Швеции в ее денежных нуждах, именно заплатит за нее голландский долг, и при этом давал знать, что и он должен получить за свои труды вознаграждение. О голландском долге сказал Головину и сам король. На донесения об этом Головин получил такой ответ из Москвы: "Что надлежит до голландской претензии, то вовсе в том не отказывай, но и не обязывайся платежом, а под пристойными предложениями отводи дело вдаль, ибо надлежит и нам смотреть, каким образом Швеция вперед будет поступать относительно нас, особливо когда сейм будет".

Легко понять, что известие о вступлении на престол Петра II нигде не было принято с таким восторгом, как в Дании. Ал. Петр. Бестужев, описывая в своих донесениях этот восторг, прибавляет: "Король надеется получить вашу дружбу и готов искать ее всевозможными способами, прямо и посредством цесаря; впрочем, здешний двор с беспокойством ждет известия, герцог голштинский по-прежнему ли будет присутствовать в вашем Тайном совете, ибо в таком случае король датский не может поступать откровенно с вашим величеством и, не получа искренней вашей дружбы, не может потерять дружбу королей французского и английского; вот почему, хотя здешний двор и не хочет отпустить свою эскадру в море, тем менее соединить ее с английскою, однако должен в запас приберегать связь с Англиею и Франциею и, чтоб выманить субсидии, велел трем полкам выступить в Голштинию". Герцог голштинский выехал из России, и датский двор успокоился, объявляя на все стороны, что хочет держаться строгого нейтралитета.

В Пруссии в июле 1727 года Головкин заметил любопытную перемену во взгляде на польские дела. Когда русский министр по обыкновению начал говорить Фридриху-Вильгельму, что в случае смерти Августа II по требованию общих интересов России и Пруссии надобно хлопотать о возведении на польский престол какого-нибудь шляхтича, то король отвечал: "Я и сам того же мнения; но если, паче чаяния, в Польше образуются две сильные партии, саксонская и Станислава Лещинского, то лучше будет поддерживать саксонскую партию, чем Станиславову". Перемена объяснялась тем, что Франция и Англия с своими союзниками начали стараться о возведении на престол Лещинского, что было бы вредно для Пруссии и всей Германской империи, потому что Станислав будет всегда держаться Франции и Англии: и для общих интересов полезнее было бы, чтоб наследный принц саксонский стал королем польским, ибо он удобнее может преодолеть сторонников Лещинского, чем Пяст. Но, разумеется, Пруссия не хотела помогать Саксонии даром, и та обещала ей не выкупать Эльбинского округа, но оставить его в вечном владении Пруссии. Касательно курляндского дела прусские министры прямо говорили Головкину: "Если нашему принцу нельзя быть в Курляндии, то зачем нам и вмешиваться в дела этой страны; нам приятнее, чтоб это герцогство разделено было на воеводства, чем досталось такому принцу,

который не был бы склонен к нашей стороне". Между тем прусский посланник Мардефельд сделал Петербургскому кабинету также предложение относительно кандидатуры наследного принца саксонского в Польшу. Головкин по указу своего двора объявил лично королю, что такая перемена в прусской политике не *безудивительна* для русского императора, который думает, что к этим саксонским намерениям надобно относиться осторожно. Король отвечал: "Теперь образовались в Европе две партии: цесарская и французская; Польша должна непременно пристать к одной из них, и потому надобно заранее принять в рассуждение, какая партия общим интересам может быть полезнее, а я думаю, что наследный принц саксонский, принадлежащий к цесарской партии, гораздо полезнее Лещинского, который втянет Польшу во французскую партию". Головкин заметил на это, что не следует необходимо предполагать приступления Польши к какой-нибудь из европейских партий: Польша живет особняком и при избрании короля будет смотреть на свои интересы, а между тем и европейские отношения могут перемениться; его величество может сам рассудить, как полезно будет для России и Пруссии, если на польский престол вступит король, у которого будет 20000 и больше собственного войска, и, какие бы выгодные условия ни были предложены Пруссии со стороны Саксонии, все эти условия химерические и никогда исполнены быть не могут. Король отвечал, что если император не желает видеть саксонского наследного принца на польском престоле, то и он, король, не даст на это своего согласия и будет свято соблюдать договоры с Россиею.

Еще в царствование Екатерины, в 1725 году, отправлен был в Китай иллирийский граф, чрезвычайный посланник и полномочный министр Савва Владиславич Рагузинский: "Понеже с китайской стороны для приключившихся пограничных некоторых несогласий не токмо с Российскою империею отправление купечества пресечено и по прежнему обыкновению отправленный российский караван в Китай не пропускается, но и агент Лоренц Ланг, бывший при дворе ханове в Пекине, и все российские купецкие люди из китайского владения пред двумя годами высланы, а наиглавнейшая с китайской стороны претензия и домогательство чинятся в разграничении земель и об отдаче перебежчиков". Как Владиславич начал свое трудное дело, видно из доношения его, присланного из Иркутска в мае 1726 года: "По прибытии в Тобольск трудился я сколько мог в тамошней канцелярии для приискания ведомостей о беглецах, о границах и о прочем и что мог собрать, то взял с собою, хотя ничего в подлинном совершенстве получить не мог за худым управлением прежних губернаторов и комендантов и за таким дальним расстоянием мест и разности народов. Приехавши в Иркутск, получил я письма от агента Ланга из Селенгинска и при них ландкарту некоторой части пограничных земель. Эту ландкарту я осмотрел подробно и увидал, что из нее мало пользы будет, потому что в ней, кроме реки Аргуна, ничего не означено, а разграничивать нужно в немалых тысячах верст на обе стороны... Увиделся я здесь с четырьмя геодезистами, которые посланы для сочинения ландкарт сибирским провинциям, и отправил двоих из них для

описания тех земель, рек и гор, которые начинаются от реки Горбицы до Каменных гор и от Каменных гор до реки Уди, потому что при графе Головине все это осталось неразграниченным. Других же двоих геодезистов отправил я вверх по Иркуту-реке, которая из степей монгольских течет под этот город, и оттуда велел им исследовать пограничные места до реки Енисея, где Саянский камень, и до реки Абакана, которая близ пограничного города Кузнецка; также велено им ехать по Енисею-реке за Саянский камень до вершин... Все пограничные крепости - Нерчинск, Иркутск, Удинск, Селенгинск - находятся в самом плохом состоянии, все строение деревянное и от ветхости развалилось, надобно их хотя палисадами укрепить для всякого случая... И китайцы - люди неслуживые, только многолюдством и богатством горды, и не думаю, чтоб имели намерение с вашим величеством воевать, однако рассуждают, что Россия имеет необходимую нужду в их торговле, для получения которой сделает все по их желанию".

В августе 1726 года с речки Буры Владиславич писал: "Сибирская провинция, сколько я мог видеть и слышать, не губерния, но империя, всякими обильными местами и плодами украшена: в ней больше сорока рек, превосходящих величиною Дунай, и больше ста рек, превосходящих величиною Неву, и несколько тысяч малых и средних; земля благообильная к хлебному роду, к рыболовлям, звероловлям, рудам разных материалов и разных мраморов, лесов предовольно, и, чаю, такого преславного угожья на свете нет; только очень запустела за многими причинами, особенно от превеликого расстояния, от малолюдства, глупости прежних управителей и не порядков пограничных. Во всей Сибири нет ни единого крепкого города, ни крепости, особенно на границе по сю сторону Байкальского моря; Селенгинск не город, не село, а деревушка с 250 дворишков и двумя деревянными церквями, построен на месте ни к чему не годном и открытом для нападений, четвероугольное деревянное укрепление таково, что в случае неприятельского нападения в два часа будет все сожжено; а Нерчинск, говорят, еще хуже".

С августа 1726 года до мая 1727 года от Владиславича не было никаких донесений, потому что он находился в это время в Пекине и все сношения по распоряжению китайского двора были пресечены. По словам Владиславича, императрицыну грамоту богдыхан принял на престоле своими руками с превеликим почтением и прочее обхождение чинено по достоинству императрицы и соответственно характеру посла, с большою отменою против прежнего. Потом для переговоров определены были три верховные министра, с которыми Владиславич имел более тридцати конференций. С китайской стороны явились сильные запросы, объявили, что Монгольская земля простирается до Тобольска, потом спустились до Байкала и реки Ангары, где хотели провести границу; своих перебежчиков насчитывали больше шести тысяч. В 23 конференции согласились на словах и трактат написали начерно, что каждая империя должна владеть тем, чем теперь владеет, без прибавки и умаления. Но спустя два дня

министры объявили Владиславичу, что они говорили это от себя и его тешили, а богдыхан не согласился, потому что монгольские владельцы прислали просьбу, чтоб Российской империи земель их не уступать, что после головинского мира русские завладели монгольскими землями на несколько дней, а в некоторых местах и по неделе ходу; и если это им не будет возвращено, то они станут отыскивать свое, хотя и вконец разорятся. Потом министры прислали проект трактата с такими крючками и неправдою, что немалая часть Сибирской губернии отрывалась от Русской империи. Восемь конференций китайцы настаивали на принятии этого проекта, то грозили послу, то обещали большое награждение. Владиславич отвечал *с равномерною гордостью*, как сам выражается, что он не изменник и не предатель отечества и о таком трактате и слышать не хочет, не только его подписывать. Тогда начали притеснять посла и свиту его и, наконец, стали посылать свите соленую воду, отчего половина людей занемогла. Когда и тут Владиславич объявил, что хотя бы все и померли, но договора не подпишет, китайцы сказали ему: "Ты упрямец, а не посол; ты приехал сюда только для поздравления богдыхана и отдачи подарков: возьми подарки к своей императрице и поезжай ни с чем". Призванный в Верховный совет, Владиславич говорил: "Российская империя дружбы богдыхана желает, но и недружбы не очень боится, будучи готова к тому и другому". "Или ты нам войну объявляешь?" - сказали китайцы. "Войну объявить указу не имею, - отвечал Владиславич. - Но если вы Российской империи не дадите удовлетворения и со мною не обновите мира праведно, то с вашей стороны мир нарушен, и, если что потом произойдет противно и непорядочно, богу и людям будет ответчик тот, кто правде противится". После этого китайцы потребовали проекта от посла и, получив его, поднесли богдыхану; тот несколько раз прочел и наконец решил, что в Пекине ничего не заключат, дабы монгольских владельцев не озлобить, а послать на границу с Владиславичем трех министров, на границе все дела окончить и границу определить.

"Я более жил за честным караулом, чем вольным послом, - писал Владиславич. - Как можно видеть из всех их поступков, они войны сильно боятся, но от гордости и лукавства не отступают; а такого непостоянства от рождения моего я ни в каком народе не видал, воистину никакого резону человеческого не имеют, кроме трусости, и если б граница вашего императорского величества была в добром порядке, то все б можно делать по-своему; но, видя границу отворену и всю Сибирь без единой крепости и видя, что русские часто к ним посольство посылают, китайцы пуще гордятся, и, что ни делают, все из боязни войны, а не от любви. В мою бытность в Пекине имел я письменные сношения с тамошними иезуитами и многие известия чрез них получил; они очень усердствовали, однако могли оказать мало помощи, потому что сами терпят большие притеснения от нынешнего богдыхана; некоторые бояре китайские, которые приняли было римскую веру, казнены за это. и всякая религия, кроме китайской, подвержена гонению, поэтому преосвященному Кульчицкому (Иннокентию, назначенному в Китай еще Петром Великим), хотя и договор

заклучится, в Пекине быть нельзя. Государство Китайское вовсе не так сильно, как думают и как многие историки их возвышают; я имею подлинныя известия о их состоянии и силах, как морских, так и сухопутных; нынешним ханом никто не доволен, потому что действительно хуже римского Нерона государство свое притесняет и уже несколько тысяч людей казнил, а несколько миллионов ограбил; из двадцати четырех его братьев только трое пользуются его доверием, прочие же одни казнены, а другие находятся в жестоком заключении; в народе нет ни крепости, ни разума, ни храбрости, только многолюдство и чрезмерное богатство, и как Китай начался, столько золота и серебра в казне не было, как теперь, а народ умирает с голоду; народ малодушный, как жида; хан тешится сребролюбием и домашними чрезмерными забавами, никто из министров не смеет говорить правду, почти все старые министры отставлены, как военные, так и гражданские; на их местах молодые, которые тешат хана полезными репортами и беспрестанною стрельбою, пушечною и ружейною, будто для воинских упражнений, а более для устрашения народа и ханских родственников, чтоб не бунтовали. Перед отъездом моим из Пекина я завел цифирную переписку с французским иезуитом патером Парени, который пользовался большим расположением покойного хана, и хотя теперешний хан к нему не очень благоволит, однако часто его в совет призывают. Этот патер нашел возможность установить тайную дружбу между мною и ханским тайным советником алегодою Маси, который сделал мне некоторые полезные предостережения; я его одарил, и он обещал мне помогать в пограничных переговорах, которые я буду вести с китайскими министрами".

20 августа 1727 года на реке Буре Владиславич заключил с китайскими министрами договор, на основании которого он домогался в Пекине, т. е. чтоб обе империи на будущее время владели тем, чем теперь владеют. С северной стороны на речке Кяхте - караульное строение Российской империи; с южной стороны на сопке Орогойте - караульный знак Срединной империи; между этими караулами разделить землю пополам, и тут будет отправляться с обеих сторон пограничная торговля. Отсюда на обе стороны отправить комиссаров для определения границы, которую проводить между русскими и монгольскими караулами и маяками: если вблизи владения русских или монгольских людей находятся какие-нибудь сопки, хребты и реки, то их причесть за границу, а где сопок, хребтов и рек нет, прилегли степи, то разделить посредине поровну от обоих владений. Донося об этом уже императору Петру II, Владиславич писал: "Могу ваше императорское величество поздравить с подтверждением дружбы и обновлением вечного мира с Китайскою империею, с установлением торговли и разведением границы к немалой пользе для Российской империи и неизреченной радости пограничных обывателей, в чем мне помогал бог, счастье вашего величества и следующие причины: во-первых, я был отправлен с поздравлением нового богдыхана со вступлением на престол, что было ему чрезвычайно приятно, и он велел меня принять в Пекине, иначе я бы в этом городе не был и ни одного бы дела не окончил.

Во-вторых, в бытность мою в Сибири приискал я на китайцев с русской стороны большие претензии, которые дали мне возможность держаться твердо в Пекине; всегда я им на одно слово отвечал двумя и грозил войною, хотя и не явно; я представлял им, что Россия сносила их обиды до настоящего времени, потому что вела три войны - шведскую, турецкую и персидскую, которые все кончила чрезвычайно для себя выгодно: теперь же, не имея ни с кем войны, послала меня к ним искать дружбы и удовлетворения. В-третьих, чрез подарки, посредством отцов иезуитов, сыскал я в Пекине доброжелательных людей, которые хотя мне помочь не могли, однако посредством тайной переписки открывали мне многие замыслы, лукавства и намерения китайских министров; больше всех я обязан названному мною в прежнем донесении тайному советнику (по их - алегота) Маси, которому я послал с караваном в подарок мягкой рухляди на 1000 рублей, а посреднику патеру Парени - на сто рублей. В-четвертых, на границе труднее всего было мне спорить с одним из китайских министров, дядею богдыхана Лонготою, и вдруг в полночь 8 августа приехали из Пекина офицеры и этого гордого Лонготу взяли и отвезли в столицу под крепким караулом, оставшиеся же два министра были гораздо умереннее; кроме того, сблизился я с одним старым тайшою, или князьком, монгольским, который пользуется большим уважением между китайцами, он меня во всем предостерегал и уведомлял о поступках и замыслах китайских министров, и, о чем они днем с ним советовались, о том ночью давал он мне знать чрез своего свойственника; за это я его наградил и обещал давать ежегодно по двадцати рублей до самой его смерти, а долго он не проживет, потому что ему за 70 лет. В-пятых, прибытие тобольского гарнизонного полка на границу, закрытие некоторых городов и мест палисадами, построение новой крепости на Чикойской стрелке, верность ясачных иноземцев, бывших в добром вооружении со мною на границе, более всего помогли заключению выгодного договора". При этом Владиславич доносил о разных злоупотреблениях в Сибири: так, пограничные правители отправляли в Китай своих людей для торгу или для других частных прихотей, а в грамотах писали их посланниками и посланцами, вследствие чего в Китае давали им корм и подводы. Сборщики ясака черных соболей брали себе, а в казну ставили желтых, которых коптили так искусно, что ни Владиславич, ни сибирский губернатор не могли отличить копченого соболя от настоящего; но китайцы различали, и это делало большой подрыв каравану, отпускаемому правительством с его товарами.

Большую заботу доставляло Владиславичу устройство церковных дел в Пекине. Он писал в Петербург, что архиерея послать туда нельзя, ибо это возбудит сильное подозрение китайцев и взволнует европейцев других исповеданий. Вследствие этого Иннокентию Кульчицкому велено было остаться в Сибири в сане епископа иркутского, а в Пекин назначен был архимандрит Вознесенского иркутского монастыря Антоний, который в сентябре 1729 года и приехал в Селенгинск, но вместо иеромонаха привез с собою только одного белого священника, "который совершенный

шумница" (пьяница). Антоний жаловался, что Иннокентий, осердясь на него, не дал ему священников, не выдал за первый год жалованья и показывал всякие другие противности как явному неприятелю. Иннокентий с своей стороны писал Владиславичу на Антония, что тот вконец разорил монастырь, монастырских денег на нем более 3000 рублей, и просил эти деньги с него взыскать. "Кто из них прав, о том бог ведает", - писал Владиславич в Петербург.

Заключенный на Буре договор был найден в России очень выгодным, и Владиславич был пожалован тайным советником и кавалером ордена Александра Невского. На другом конце Сибири Беринг, выполняя инструкцию Петра Великого, нашел, что Азия отделяется от Америки широким проливом, и после пятилетнего путешествия в марте 1730 года возвратился в Россию; он не застал уже здесь и второго императора.

В начале сентября 1729 года Петр выехал в сопровождении Долгоруких из Москвы с 620 собаками и возвратился только в начале ноября. Следствия такой долгой отлучки оказались 19 ноября, когда торжественно было объявлено, что император вступает в брак с дочерью князя Алексея Григорьевича Долгорукого Екатериною, которой было 17 лет. 30 ноября было обручение, княжну Екатерину Алексеевну уже начали называть императорским высочеством. По рукам ходила речь фельдмаршала Долгорукого, сказанная им племяннице при поздравлении: "Вчера я был твой дядя, нынче ты - моя государыня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь дать тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленна, но, слава богу, она очень богата, и члены ее занимают хорошие места; итак, если тебя будут просить о милости кому-нибудь, хлопочи не в пользу имени, но в пользу заслуг и добродетели: это будет настоящее средство быть счастливою, чего тебе желаю".

Но вместе с этой речью ходили слухи, что фельдмаршал Долгорукий, наиболее уважаемый из всей фамилии, противился браку племянницы с императором, как не могущему повести к добру. Ходило много зловещих слухов: предсказывали, что Долгорукие, идя по стопам Меншикова, будут иметь одинаковую с ним участь; их все ненавидят, они не хотят приобрести ничего расположения, женят императора силою, употребляя во зло его малолетство; но когда он достигнет 15 или 16 лет, то верные министры разъяснят ему сущность дела, тогда он раскается в своей женитьбе, и Долгорукие погибнут, а царица, наверное, кончит монастырем. Толковали, что Долгорукие уже делят между собою высшие должности: Алексей хочет быть генералиссимусом или первым министром, Иван - великим адмиралом, Василий Лукич - великим канцлером, Сергей - обер-штаб-мейстером. Но иностранные министры зорко подсматривали, как обходится император с своею невестою, и поражались холодностью их отношений, точь-в-точь как Петр обходился с прежнею своею невестою

княжною Меншиковою; но при этом шли слухи, что невеста и неохотно принимала бы нежности жениха, потому что сердце ее отдано другому - графу Миллезимо, родственнику цесарского посла графа Вратислава.

Петр находился теперь в более тяжелом положении, чем при Меншикове. Тогда он вооружился за свои права против человека, незаконно похитившего власть и употреблявшего ее во зло; тогда он схватился с человеком, который хотел держать его в руках, не давать ему воли, оскорблял его, людей к нему близких, тиранствовал, как уверяли, над Россиею. Но к Долгоруким другие отношения: они постоянно самым ревностным образом исполняли все его желания, угождали, забавляли его без малейшего прекословия; он сам отдался им в руки, его притянула к ним его собственная страсть, нерасположение заниматься серьезным делом, желание забавляться, развлекаться. Каким бы образом ни было сделано внушение о браке, он его принял, согласился, не имея сил порвать с людьми, к которым привык, не имея сил вынести печальных лиц *компани*; он согласился, дело не без него сделалось, его не принуждали. Как легко ему было оборачиваться спиною к Меншикову, так тяжело было это сделать относительно Долгоруких. А между тем тяжело и сохранить прежние отношения: невеста не нравится, самолюбие страдает: позволил завести себя дальше, чем следовало; как они смели? Но сам согласился, сам одобрил и оправдал их смелость; где была сила воли, где характер? И все считают его бесхарактерным ребенком, потому что с какой стати ему, императору, жениться на Долгорукой, которая старше его и которая вовсе ему не нравится? Раздражение тем сильнее, чем труднее выход из положения, возбуждающего раздражение.

"Царь начинает стряхать с себя иго", - пишут иностранные министры к своим дворам в начале 1730 года. Недавно тайком ночью уехал он к Остерману и у него имел совещание еще с двумя другими членами Верховного тайного совета. Виделся он и с теткою цесаревною Елисаветою, которая со слезами жаловалась ему на свое печальное положение: во всем терпит она страшный недостаток, даже соли не отпускают сколько надобно. Петр отвечал, что он не виноват, он много раз давал приказания удовлетворить ее требованиям, но он скоро найдет средство разбить свои оковы. До самого конца ходили упорные слухи, что фаворит хочет жениться на принцессе Елисавете, но что она никак не соглашается на это и объявила, что скорее вовсе не выйдет замуж, чем выйдет за подданного. Ненависть к ней Долгоруких могла происходить отсюда; могла происходить и из опасения ее влияния над Петром: они постоянно могли видеть помеху своим планам. Слух, что ей грозил монастырь от Долгоруких, подтверждается последующим признанием князя Ивана, который приписывал опалу своей фамилии наговорам цесаревны и объявил, что хотел сослать ее в монастырь и с отцом своим наедине о том говаривал для того, что казалась к ним немилостива.

Долгорукие готовились к двум свадьбам: свадьбе императора на княжне Екатерине Алексеевне и свадьбе фаворита, князя Ивана, на графине Наталье Борисовне Шереметевой, дочери покойного фельдмаршала. Враги Долгоруких толковали о несогласиях, господствовавших в фамилии: князь Алексей не может терпеть сына Ивана, которого ненавидит также и сестра, невеста императора, потому что фаворит не дает ей бриллиантов, принадлежавших великой княжне Наталье Алексеевне.

6 января водоосвящение на Москва-реке и парад: войска к Иордани вел фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий; когда они построились в каре, приехал император из Слободского, или Лефортова, дворца, где жил в это время, и занял полковничье место.

На другой день слухи, что император нездоров; придворные озабочены, грустны - значит, болезнь опасная. У государя оспа!

Иностранные министры уже толкуют о том, что будет, если случится несчастье; указывают на четыре партии: партию цесаревны Елисаветы, партию царицы-бабки, партию невесты княжны Долгорукой, партию малолетнего герцога голштинского; и самые сильные из этих партий - партия царицы-бабки и невесты Долгорукой. Идут слухи, что князь Алексей хочет обвенчать больного Петра в постели на своей дочери. Больше всех иностранных министров волнуется датский, Вестфален. Три года тому назад ему удалось отстранить герцогиню голштинскую и сестру ее от русского престола, но теперь опасность возобновляется: Вестфален разъезжает то к Долгоруким, то к Голицыным. Князю Василью Лукичу он говорит: "Слышал я, что князь Дмитрий Голицын желает, чтоб быть наследницею цесаревне Елисавете, и если это сделается, то сами вы знаете, что нашему двору это будет очень неприятно; если не верите, то я вам письменно сообщу об этом, чтоб вы могли показывать всякому, с кем у вас будет разговор". Князь Василий отвечал ему: "Теперь, слава богу, оспа высыпала, и есть большая надежда, что император выздоровеет; но если и умрет, то приняты меры, чтоб потомки Екатерины не взошли на престол; можете писать об этом к своему двору как о деле несомненном". Вестфален, однако, прислал письменное заявление, которое состояло в следующем: "Слухи носят, что его величество очень болен, и если престол российский достанется голштинскому принцу, то нашему Датскому королевству с Россией дружбы иметь нельзя. Обрученная невеста из вашей фамилии, и можно удержать престол за нею, как Меншиков и Толстой удержали престол за Екатериною Алексеевною; по знатности вашей фамилии вам это сделать можно, притом вы больше силы и нрава имеете". Князь Василий Лукич прочел письмо в кругу родных, но тут об этом деле не рассуждали, потому что императору стало легче.

Но скоро ему опять стало хуже. Из головинского дворца, где жил князь Алексей Григорьевич с семейством, посланы были гонцы по родственникам, чтоб съезжались. Родственники съехались и нашли князя

Алексея в спальне на постели. "Император болен, - начал он, - и худа надежда, чтоб жив был; надобно выбирать наследника". Князь Василий Лукич спросил: "Кого вы в наследники выбирать думаете?" Князь Алексей указал пальцем вверх и сказал: "Вот она!" Наверху жила дочь его, обрученная невеста. Князь Сергей Григорьевич начал говорить: "Нельзя ли написать духовную, будто его императорское величество учинил ее наследницею?" На это возразил князь Василий Владимирович: "Неслыханное дело вы затеваете, чтоб обрученной невесте быть российского престола наследницею! Кто захочет ей подданным быть? Не только посторонние, но и я, и прочие нашей фамилии - никто в подданстве у ней быть не захочет. Княжна Катерина с государем не венчалась". "Хоть не венчалась, но обручалась", - сказал князь Алексей. "Венчание иное, а обручение иное, - возразил князь Василий Владимирович, - да если б она за государем и в супружестве была, то и тогда бы во учинении ее наследницею не без сомнения было". Григорьевичи представляли ему, что стоит только энергически приняться за дело и в успехе сомневаться нельзя: "Мы уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Михайловича Голицына, а если они заспорят, то мы будем их бить. Ты в Преображенском полку подполковник, а князь Иван майор, и в Семеновском полку спорить о том будет некому". "Что вы, ребячье, врите! - возразил князь Василий Владимирович. - Как тому можно сделаться? И как я полку объявлю? Услышав от меня об этом, не только будут меня бранить, но и убьют". После этого спора князь Василий Владимирович уехал вместе с братом Михайлою. Тогда князь Василий Лукич, севши у камина на стул и взяв лист бумаги да чернильницу, начал было писать духовную, но скоро перестал и сказал: "Моей руки письмо худо, кто бы получше написал?" Стал писать князь Сергей Григорьевич со слов Василья Лукича и Алексея Григорьевича и написал два экземпляра. Тут князь Иван Алексеевич, вынув из кармана черный лист бумаги, начал говорить: "Вот посмотрите письмо государевой и моей руки: письмо руки моей слово в слово как государево письмо; я умею под руку государеву подписываться, потому что я с государем в шутку писывал" - и написал "Петр". Все нашли, что похоже, и решили, чтоб Иван подписал под духовную, если государь за тяжкою его болезнию сам подписать духовной будет не в состоянии

Государь уже не был в состоянии подписывать. В бреду он все звал к себе Андрея Ивановича (Остермана), наконец произнес зловещие слова: "Запрягайте сани, хочу ехать к сестре" - и скончался с 18 на 19 января, во втором часу ночи, 14 лет и трех месяцев со днями.